ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

В. ОТАМБУЛОВ

Намык Кемаль

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Вашем вниманию предлагается биографический роман о турецком писателе Намык Кемале (1840–1888). Кемаль был одним из организаторов тайного политического общества «новых османов», активным участником конституционного движения в Турции в 1860-70-х гг.

Из серии «Жизнь замечательных людей». Иллюстрированное издание 1935 года. Орфография сохранена.

Под псевдонимом В. Стамбулов писал Стамбулов (Броун) Виктор Осипович (1891–1955) – писатель, сотрудник посольств СССР в Турции и Франции.

- В. Стамбулов
  -
  - Павильон роз
  - Детство
  - В дни крымской войны
  - Два пути
  - Шинаси
  - Общество новых османцев
  - В эмиграции
  - Снова на родине
  - «Отечество или Силистрия»
  - Мои тюрьмы
  - «Харабат»
  - Мидхат-паша
  - Конституция
  - Война
  - «Зулюм»[100]
  - Японские безделушки из слоновой кости
  - Последний путь
  - БИБЛИОГРАФИЯ
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53

- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97

- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107

В. Стамбулов
Намык Кемаль

Дело, за которое боролся Намык Кемаль (1840–1888), нашло своего продолжателя в лице Камаля Ататюрка (Гази Мустафа Кемаль-паша).

Камаль Ататюрк, нынешний Президент дружественной Советскому Союзу Турецкой республики, возглавил в 1919 году национально-освободительную борьбу турецкого народа.

Все этапы этой борьбы достаточно подробно описаны и документированы в капитальном труде Камаля Ататюрка. Труд этот (четыре тома) вышел на русском языке под заглавием «Путь Новой Турции».

РЕДАКЦИЯ

Павильон роз

Несколько десятков лет назад посетить старый стамбульский дворец «Топ-Капу» было сокровенной, несбыточной мечтой каждого путешественника по Востоку. Для века романтизма этот живой осколок легендарной восточной экзотики, свидетель трагических событий и хранитель кровавых тайн обладал непреодолимо-привлекательной силой. Смертельно завидовали французскому поэту Ламартину, которому удалось в тридцатых годах прошлого столетия побывать во внутренних дворах Топ-Капу и посмотреть вблизи его роскошные киоски.

Но, хотя уже в начале девятнадцатого столетия султаны покинули эту вековую резиденцию османских завоевателей, где в последнее время они были лишь жалкими пленниками буйных янычар, во дворце доживали свой век гаремы покойных падишахов, в нем хранились священные реликвии ислама и сказочные, накопленные веками, богатства короны, и его двери были ревниво закрыты не только перед иностранцами, но и перед всеми теми, кто не принадлежал к окружению султана.

Сейчас старый дворец открыт для всех. Его обветшавшие, пришедшие в запустение покои отремонтированы и превращены в музей; цветущие сады приведены в порядок, и их заросшие дорожки подчищены. Словоохотливый гид или один из греющихся на солнце перед входом старых евнухов, доживающих здесь свой печальный век, с удовольствием поведут вас по всем многочисленным закоулкам дворца, указывая наиболее достопримечательные места. В монументальных входных воротах черного и белого мрамора они покажут вам гордую золотую «тугру» (монограмма) основателя дворца Мухамеда II, завоевателя Константинополя: «Да сохранит вечно аллах славу его владельца» – и громадные ржавые гвозди, торчащие из ниш по обе стороны ворот, на которые втыкались головы казненных. У вторых ворот они обратят ваше внимание на «фонтан палача», на каморку в толще стены, где всегда жил этот необходимейший столп режима, готовый по первому знаку отрубить любое количество голов на тут же лежащем в густой траве обломке мраморной колонны. Вы обойдете с ними ярко расписанные аппартаменты Кызляр-аги – начальника черных евнухов, зал «дивана»,[1] где совещались министры под бдительным оком султана, невидимо присутствующего за скрытым решеткой окном, роскошные аляповатые и душные покои различных султанов, кельи одалисок и темные ужасные каморки, где жили многочисленные рабы и челядь, обслуживающая дворец. Тут же

висят ржавые цепи, колодки и батоги, которыми поддерживалась «дисциплина».

Среди роскошных садов и мраморных водоемов вы увидите достойные сказок Шехерезады киоски и беседки, для постройки которых не жалели перламутра, неподражаемых изникских изразцов, секрет которых давно утерян, и драгоценного дерева. Вы посетите казнохранилище, где ваше воображение ошеломят груды драгоценных камней и изумительных произведений искусства, пройдете мимо темноватых камер, забранных решетками, куда заточались все ближайшие наследники, как только новый падишах вступал на престол, и, наконец, закончите осмотр небольшим мраморным особняком в европейском стиле – павильоном Абдул-Меджида.

Внутри – мебель ампир, посредственный «буль»,[2] хрустальные люстры и бронзовые статуэтки; на одной из стен портрет во весь рост первого турецкого реформатора, султана Махмуда II, в полуевропейском платье и в красной феске. Широкая дверь ведет на террасу, откуда открывается непередаваемо прекрасный вид на окружающий дворец парк вековых платанов и кипарисов, на сверкающие просторы Мраморного моря, синеющие вдали очертания гористого анатолийского берега, на увенчанные ливанскими кедрами Принцевы острова.

Пока вы наслаждаетесь зрелищем, гид трогает вас за плечо и, показывая вниз направо, на кущи деревьев между дворцом и проложенной вдоль берега железной дорогой, говорит:

– Гюль-хане.[3]

Для большинства туристов эти слова – пустой звук. Из своих путеводителей они вычитали главным образом, что здесь когда-то был византийский Акрополь, возвышались роскошные дворцы Буколион и Порфировый, развалины которых еще до сих пор стоят на берегу. А между тем, с этой цветущей площадкой и стоящим направо, в глубине ее, небольшим киоском связано одно из важнейших событий турецкой истории прошлого столетия.

26-го числа лунного месяца Шабана 1254 года Гиджры[4] (3 ноября 1839 года) необычное оживление царило на улицах и на площадях, ведущих к Топ-Капу. Великое множество народа, созванное глашатаями, стекалось со всех сторон к розовым цветникам, покрывавшим тогда обширную террасу Гюль-Хане, С пестрыми знаменами проходили многочисленные стамбульские эснафы.[5] Шумными толпами стекались веселые софты.[6] Во главе со своими епископами и попами шли христианские общины. В громоздких фаэтонах ехали важные улемы.[7] В

парадных султанских каретах, в расшитых золотом мундирах и в треуголках с плюмажем, восседали иностранные дипломаты. Под барабанный бой и пронзительные звуки дудок проходили военные отряды.

Терраса перед Гюль-Хане наполнялась народом. В этот день сюда сошлось от 30 до 40 тыс. стамбульских жителей. Кругом в виде громадного четырехугольника выстроилась гвардия. В верхнем салоне киоска Гюль-Хане, у широкого окна, поместился недавно вступивший на трон Османов султан и калиф правоверных – Абдул-Меджид, невзрачный шестнадцатилетний юноша с тупым, невыразительным лицом, выросший в душной, невежественной обстановке гарема и вряд ли что-либо понимавший во всем происходившем. Нижний этаж был предназначен для дипломатического корпуса и французского принца Жуанвильского – сына короля Луи-Филиппа, гостившего в то время в Стамбуле. Вышколенные расторопные секретари Высокой Порты,[8] раздвигая толпу, с поклонами вели сюда иностранных дипломатов и их пышную свиту.

Несколько в стороне, в длинных старинных кафтанах, в белых и зеленых чалмах разместился корпус улемои. Далее стояло греческое, армянское и еврейское духовенство, важные турецкие чиновники, нотабли. Неподалеку от дворцового зверинца, где для забавы гарема содержались львы, была возведена высокая трибуна, на которую были обращены все взоры. С этой трибуны сейчас должен был быть провозглашен хатишериф,[9] которым впервые в истории Оттоманской империи объявлялось равенство всех подданных, без различия религии и национальности, и переустройство государства, в силу которого не знавшая никаких ограничений власть султана вводилась в наиболее элементарные рамки закона.

Задавленному ужасным гнетом и произволом населению плохо верилось в то, что султанский манифест действительно принесет какое либо облегчение, но для чиновников и торговой буржуазии с хатишерифом связывались кое-какие надежды. В этих кругах заговорили о возрождении Турции в результате объявленных реформ. Зато вся дворцовая камарилья, все реакционные элементы, значительная часть духовенства, словом все, для кого деспотический режим являлся основой неограниченного произвола и обогащения за счет народа, с нескрываемой злобой ополчились на инициаторов реформы и в первую очередь на проводившего ее министра иностранных дел Мехмед Решид-пашу, – «Великого Решида», как называли его сторонники и почитатели.

Теперь все с нетерпением ожидали его появления.

Решид-паша несомненно может считаться крупнейшим государственным деятелем Турции первой половины XIX столетия. Тонкий политик и дипломат, убежденный либерал и западник, он прекрасно отдавал себе отчет, что, склонив молодого султана на опубликование манифеста, он играет в опасную игру.

Оплот реакции: улемы, духовенство, камарилья – вели бешеную агитацию против «нечестивых, противных аллаху, заимствованных у гяуров новшеств» среди темного фанатического населения. Многие из товарищей Решида по министерству, и в том числе великий визирь Хюсрев-паша, прославившийся своими жестокостями в прошлое царствование, плели против него сеть интриг и убеждали мальчишку-султана покончить со всеми разговорами о реформах одним взмахом топора на внешнем дворике Топ-Капу. Среди подонков Стамбула шло открытое подстрекательство к убийству «франка в очках»,[10] один вид которого являлся оскорблением священного ислама.

Все это было известно Решиду. Он принимал самые тщательные предосторожности, чтобы не погибнуть еще до опубликования хатишерифа. Он сам писал его, запершись в своем кабинете и никого не пуская к себе. Одновременно он составил свое завещание, и когда при отъезде во дворец кто-то из домашних спросил его распоряжений на следующий день, он ответил:

– Если вечером вернусь живым, тогда скажу.

Но против ожидания день прошел спокойно. Султан и реакционная партия не решились на казнь Решида, боясь восстания сочувствующих реформам слоев населения и в первую очередь армии, среди молодого офицерства которой многие открыто приветствовали предстоящие реформы.

Хатишериф был подписан султаном. Придворный чиновник принес его к трибуне в красном шелковом чехле и передал великому визирю Хюсрев-паше, который, развернув и поцеловав его, в свою очередь вручил Решид-паше.

Решид твердым шагом взошел на трибуну. Стоявший тут же с астролябией в руках главный придворный астролог возвестил благоприятную для провозглашения манифеста минуту, после чего Решид-паша начал чтение хартии.

– Всему свету известно, – доносилось до окружавшей трибуну и хранившей полное молчание толпы, – что в первые времена Османского государства основным правилом были достославные предписания Корана я государственные законы. Следствием этого были усиление и рост государства и благополучие и преуспеяние подданных. Но лет сто пятьдесят тому назад, вследствие многих

неблагоприятных обстоятельств и разных других причин, перестали почитать святые заповеди, отчего сила и благополучие прежних времен превратились в слабость и бедность. Ибо государство теряет всякую силу, если в нем не соблюдаются законы.

Присутствующие вслушивались в каждое слово, ожидая, что будет дальше.

– При этих обстоятельствах, – продолжал Решид, – мы сочли нужным посредством новых учреждений доставить землям, составляющим Османское государство, благосостояние, под хорошим управлением.

– Эти учреждения должны преимущественно иметь в виду три пункта: гарантию полной безопасности жизни, чести и имущества наших подданных, правильное распределение и взимание государственных податей, определение рекрутского набора и срока военной службы.

Далее говорилось о вреде откупной системы налогов, об ограничении военной службы четырьмя или пятью годами.

– Разве можно доводить солдат до отчаяния и способствовать обезлюдиванию страны, заставляя их служить всю жизнь, – читал Решид.

– Каждое преступление будет судимо впредь публично, после следствия. Каждый, как бы высоко он ни стоял, будь он даже улема, будет подлежать наказанию по закону за совершенные им проступки. Никто не должен быть предан смерти ни тайно, ни явно, ни посредством отравления, ни другим способом, пока не последует законный приговор. Каждый человек может пользоваться своим имуществом и распоряжаться им совершенно свободно. Невинные наследники преступника не должны быть лишены своего законного наследства путем конфискации имущества осужденного. Весь этот акт падишахского милосердия относится ко всем нашим подданным, к какой бы религии и национальности они ни принадлежали.

– …действующие против новых законов да будут подвержены проклятию аллаха и навсегда лишены всякого покровительства, – громко закончил Решид свое чтение.

Загрохотали орудия всех босфорских батарей, возвещая стране о провозглашении хартии, которую – что не слыхано было до тех пор в летописях турецкого самодержавия – султан и высшие государственные чиновники скрепили присягой.

Так началась эпоха Танзимата.[11]

Турция переживала в те годы труднейшие моменты своей истории. Уже давно забылись те отдаленные времена, когда

победоносные армии османов держали в паническом страхе феодальную Европу.

О знаменитой «эпохе завоеваний», полной блеска побед и неувядаемой славы, напоминали сейчас лишь величественные здания мечетей и пышные гробницы султанов-завоевателей. Шесть веков тому назад, когда она началась, турки-османы владели лишь незначительной частью западной Анатолии. Их первая столица – зеленая Брусса, расположенная у подножия вифинийского Олимпа, сохранила до сих пор архитектурные шедевры, свидетельствующие о ярком развитии культуры только-что созданного государства. Здесь в борьбе с малоазиатскими феодалами выковалась стальная мощь их армий, которые они бросили на разрозненную, ушедшую в феодальные распри Европу. В их лице народы передней Азии вновь ставили перед собой историческую задачу, неудавшуюся арабам, стать посредником мировой торговли между Западом и Востоком. И эта цель, борьба за овладение торговыми путями, сплотила вокруг организующего турецкого ядра самые разнообразные национальности. Даже основной костяк победоносных турецких армий, знаменитые янычары, рекрутировались из молодежи покоренных, по большей части славянских, народностей.

Через два столетия турки владели обширнейшей империей в трех частях света. Черное море стало их внутренним морем, и устья главнейших рек, по которым шла торговля центральной и восточной Европы, – Дунай, Днепр, Дон – принадлежали им. На юге их мощному натиску покорилась вся Аравия, с ее некогда блестящими и богатейшими столицами: Дамаском и Багдадом. Святые места христиан и мусульман – Иерусалим и Мекка с их громадными богатствами, накопленными веками паломничества, стали их легкой добычей. Теперь они контролировали караванные пути, ведущие через необозримые песчаные пустыни в Иран, Афганистан, Индию. Идя по стопам арабов, они подчинили Египет, захватили калифат[12] у жалкого, приютившегося там последыша арабских калифов и распространили свое господство на Триполитанию, Ливию, Тунис и Алжир.

На западе их хорошо вооруженные, дисциплинированные, прекрасно обученные армии грозным потоком прошли по всему Балканскому полуострову. Некоторое время Константинополь – все, что осталось Византии от мировой Восточно-Римской империи – существовал еще как греческий островок среди этого бурно разлившегося турецкого моря. Но долго сопротивляться он не мог. Историческая роль Византии была кончена. Разъедаемая схоластическими спорами монахов и борьбой придворных партий, зараженная всеми недугами восточных деспотий, она

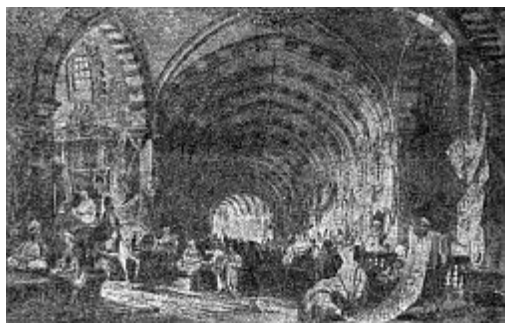
стояла теперь на неизмеримо низшем уровне цивилизации, чем молодое турецкое государство. В 1453 году она рухнула под напором, а вслед за ней перешли в руки турок и другие «передовые бульвары христианства»: остров Родос, София, Белград.

Теперь весь Балканский полуостров: Греция, Болгария, Сербия, Македония, Албания, Босния, Герцеговина, Валахия – очутился в руках турок. Могущественная Венеция, у которой турки отняли значительную часть морской торговли, составлявшей основу ее богатства и мощи, трепещет за свое существование. Янычары бьются под стенами Вены, пытаясь открыть эти последние ворота Европы.

Но сила прибоя уже истощилась. Неограниченный произвол и деспотизм правящих верхов отбросил страну на несколько веков назад. Все XVIII столетие прошло в постепенном отступлении перед ранее легко побеждаемыми врагами. Одна завоеванная провинция отдавалась за другой. В то время, как в Европе росла торговая и промышленная буржуазия, создавались предпосылки для мощного развития производительных сил, в Турции мало-помалу гибли некогда цветущие ремесла, а феодальные элементы вновь укреплялись и подымали голову. Постоянные войны истребляли наиболее способное к труду население и поглощали колоссальные денежные средства. В вечном поиске денег для удовлетворения своих потребностей безумной роскоши, правящая верхушка до тла разоряла страну и продавала иностранцам все важнейшие источники доходов. Предоставленные европейцам капитуляции фактически превратили Турцию в колонию и стали непреодолимым препятствием на пути развития национального капитализма.

Минули те времена, когда турецкая кустарная промышленность не только удовлетворяла внутренний рынок, но и вывозила свою продукцию в страны Европы и Азии. Шелка и бархат Бруссы и Диарбекира славились во всем мире. Смирна, Сивас, Кейсария, Гардес ткали знаменитые ковры, споривше с иранскими по тонкости и художеству своих ярких рисунков. В тысячах крестьянских изб вокруг Кастамуни, Назили, Денизли, Анкары непрерывно жужжали прялки, стучали ткацкие станки. Из тонкого руна ангорских овец, из нежного кастамунийского льна и хлопка Аданы ткались славившиеся далеко за пределами страны ткани. За неподражаемыми клинками, секрет которых ревниво хранили Дамаск, Стамбул и Траоник и которые ценились чуть ли не на вес золота, отовсюду съезжались покупатели. На громадном сводчатом стамбульском базаре – Бедестане, еще до сих пор привлекающем туристов, толпились купцы со всех стран мира.

Европейская торговля, пользовавшаяся привилегиями капитуляций, и ужасные поборы откупщиков налогов разорили и почти убили все эти ремесла. Напрасно восставали кастамунийские и денизлийские села, жгли ввозные товары и проповедывали ношение только туземных тканей.[13] Восстания подавлялись с невероятной жестокостью, и разорение шло все дальше и дальше. Теперь дешевые продукты крупной капиталистической промышленности, таможенные пошлины на которые были до смешного низки, наводняли Турцию.



Стамбульский крытый рынок «Бююк Чарша» в XVIII столетии.

Напрасно правительственная верхушка, вечно нуждавшаяся в деньгах и прельщенная крупными капиталистическими прибылями, пыталась искусственно насадить крупное производство. Построенные в начале XIX столетия несколько крупных фабрик и заводов, главными владельцами и акционерами которых были министры и придворные и в которые были вложены крупные по тому времени казенные средства, должны были быстро закрыться, не выдержав европейской конкуренции.

Революционная волна, сметавшая в Европе королевские троны и феодальные замки, докатилась и до Турции. В западных областях Оттоманской империи: в Греции, Черногории, Боснии – она вылилась в сепаратистское национально-освободительное движение и в восстания христианских крестьян против турецких помещиков. Но в самой Турции буржуазия была слишком слаба, чтобы померяться силами с феодализмом. Однако, под давлением всеобщего неудовольствия, непрерывных крестьянских восстаний во всех частях империи и перед угрозой полного крушения монархии, правящая верхушка вынуждена была подумать о реформах. Но все попытки проведения даже самых скромных преобразований наталкивались на реакционные силы, главным оплотом которых были улемы, дервиши,[14] и особенно войско янычар – этих типичных турецких стрельцов.

Образованное одним из первых османских султанов – Орханом, это войско, когда-то своими завоеваниями содействовавшее созданию огромной империи, теперь, в течение полутора веков распоряжалось ее судьбами и тянуло ее назад, и султан со своим правительством были лишь жалкой игрушкой в руках этой страшной реакционной силы.

В те дни, когда был объявлен хатишериф Гюль-Хане, еще многим были памятны времена хозяйничания янычар.

1807-ой год; момент напряженной борьбы между старой феодальной знатью, владевшей землями и угодьями, «пожалованными» за несение военной или гражданской службы, и новыми помещиками, связанными с рынком поставками на армию и вывозившими за границу продукты сельского хозяйства. В руки этих помещиков постепенно переходили земли разорявшейся родовой знати. Султан Селим III пытается опереться на эту новую силу и обуздать янычарскую вольницу. Он делает попытку преобразовать войско, ввести в него европейское обучение и дисциплину, знаменитый «низам джедид» (новый устав). В ответ на это возникло грозное брожение среди янычар; они опрокидывают свои огромные котлы, в которых варят пищу и которые по традициям янычарского войска не менее священны, чем знамена. Это грозный символ бунта, в течение веков заставлявший трепетать дворец.

Яростные толпы янычар врываются в дома визирей и во дворец. Селим низложен, и вместо него на престол возведен его двоюродный брат – Мустафа IV, тайно возглавлявший реакционный мятеж.

Через несколько месяцев, когда рущукский наместник Байрактар, сторонник реформ, пытается освободить Селима, янычары вновь наводняют дворец. Селим умерщвлен, а младший брат Мустафы – Махмуд, спасается от смерти, лишь спрятавшись в куче ковров в чуланах Топ-Капу, в то время как убийцы бегают мимо, повсюду разыскивая его.

Байрактар отомстил за это убийство; он сверг Мустафу и посадил на престол Махмуда; приведенные им воинственные отряды на короткий срок заставили отступить янычар, но уже через несколько месяцев они восстали снова. Осажденный в своем дворце Байрактар со всеми приближенными и защитниками погиб в пламени. Янычары бросились ко дворцу, но Махмуд приказал умертвить Мустафу и этим спас свою жизнь. Теперь он оставался единственным и последним представителем рода Османов, и янычары не осмелились поднять на него руку; он был «табу», ибо его смерть ставила вопрос о новой династии, и реакционная партия не чувствовала себя достаточно сильной,

чтобы справиться с новой смутой, которая могла вспыхнуть.

Махмуд еще более, чем Селим, чувствовал необходимость и неизбежность реформ, но перед яростным разгулом реакции он должен был до поры до времени затаить мысль о них. На первых порах он вынужден был даже пойти на значительные уступки янычарам и в первую очередь отменить «новый устав» и подтвердить старинные привилегии их войска. Но исподволь он готовился к борьбе с ними. Покинув роковой для его предшественников дворец Топ-Капу, он переселился в европейскую часть города, подальше от штаб-квартиры буйных преторианцев. Долгожданный им день наступил лишь в 1826 году.

Площадь ипподрома и мечеть Султан-Ахмед.

К этому времени он сорганизовал преданные ему отряды артиллерии и сумел купить сторонников среди высшего командования янычар. В июне янычарам было предъявлено распоряжение выделить из каждой роты определенное количество людей для прохождения нового обучения под руководством египетских инструкторов.

Вновь разгорелись страсти, опять были опрокинуты котлы, и буйные толпы янычар готовились напасть на дворец. Но 15 июня они были разгромлены войсками султана. Беднейшее население Стамбула, ненавидевшее янычар за их грабежи и насилия, деятельно помогало их уничтожению. Крупную роль в этом деле сыграли анатолийские рекруты из крестьян. Хотя они и не принимали непосредственного участия в подавлении мятежа и оставались в резерве на азиатской стороне Босфора, но их импозантная масса, решительное настроение и ненависть к янычарам, всегда чинившим грабежи и насилия в деревнях, деморализовали реакционные силы и содействовали ослаблению сопротивления янычар.

К вечеру Стамбул напоминал Москву в дни стрелецких

казней. Разрушенные артиллерией, пылали янычарские казармы на Этмейдане (Мясная площадь), названном так потому, что там по традиции происходила раздача пищи янычарскому войску. Народ помогал ловить ненавистных насильников и выдавал их правительству. Фанатическая проповедь дервишей-бекташей, тесно спаянных с янычарским войском с момента его создания, так как основатель ордена, Хаджи Бекташ, благословил по преданию их первые отряды, не имела в этот день успеха, ибо Махмуд торжественно вынес из дворца священное знамя пророка и этим сразу остановил темных фанатиков, обычно помогавших янычарам. Вместе с янычарами были разгромлены и их покровители бекташи. Около 20 ООО янычар, бекташей, членов преданного янычарам цеха пожарных было истреблено в эти дни, и еще долго спустя их трупы, брошенные в море, плыли по течению Босфора.

За тринадцать лет своего последующего царствования Махмуд II, которого часто называют турецким Петром Великим, все же не сумел провести необходимых реформ. Предел им был положен внешними и внутренними событиями, которыми была охвачена Турция.

В Греции, где на основе значительной морской торговли начали быстро развиваться капиталистические отношения, вспыхнуло восстание против турецкого владычества. Ни английские консерваторы, ни тем более русское самодержавие не сочувствовали этому движению, в котором на каждом шагу слышались отголоски идей Французской революции. Но дать туркам раздавить это восстание, значило пожертвовать крупными коммерческими интересами. Греческий торговый флот принимал самое активное участие в экспорте русского хлеба и ввозе колониальных товаров, в которых нуждалась Россия. Английская торговля в восточной части Средиземного моря была тесно связана с греческими портами. Две соперничавшие державы ревниво следили друг за другом и, наконец, решились на совместное выступление, к которому присоединились и французы, заинтересованные в том, чтобы Россия не получила первенствующего положения на Ближнем Востоке.

Соединенный турецко-египетский флот был уничтожен союзниками в греческой бухте Наварин. Этим поражением и дальнейшей поддержкой держав был предопределен исход греческого восстания и последующее выделение Греции в независимое государство. В 1830 году французы захватили Алжир и, ободренные успехом, пытались дальше расширить свои колониальные владения за счет северо-африканских областей Оттоманской империи. Поддержанный ими египетский

наместник Магомет-Али восстал против Турции.

Его войска захватили Сирию и значительную часть Малой Азии. Под Конией он наголову разбил турецкую армию, взял в плен командующего ею великого визиря и, поддерживаемый населением, готовым на все, лишь бы избавиться от ужасного гнета турецких наместников, двинулся к Стамбулу. Наборы рекрутов для борьбы с египтянами вызвали во многих провинциях беспорядки. Военная катастрофа бросила турецкое правительство в объятия векового врага – России. Турция приняла предложение о помощи Николая I, и русская эскадра вошла в Босфор, а русские войска высадились на азиатском берегу пролива в Хункьяр-Искелеси. В благодарность за эту помощь Николай I добился закрытия Дарданелл для военных судов европейских держав. Начинается знаменитая англо-русская дуэль, все удары которой направлены в грудь Турции.

Союз с Россией, где реакция была в самом разгаре, а самодержавие приняло самые деспотические формы, не мог не усилить реакционных элементов Турции. Отныне они парализуют все реформаторские тенденции Махмуда. Над жизнью последнего висит постоянная угроза, и перед его памятью проносятся все ужасные картины первых лет его царствования. Для фанатиков он – «падишах-гяур»,[15] избавиться от которого является святым делом.

В 1837 году дервиш Шейх Саглы на галатском[16] мосту бросился перед его лошадью с криком: «Неверный падишах, разве ты не насытился своими преступлениями; ты ведешь к гибели ислам и навлекаешь месть аллаха на себя и на нас».

Другой дервиш из Бухары явился к Решид-паше во дворец Высокой Порты и осыпал его самыми ужасными оскорблениями и проклятиями. Чтобы не возбудить волнений среди фанатиков, дервиша лишь выгнали за дверь.

Фанатики поджигали целые кварталы Стамбула и обвиняли затем Махмуда, что он своим нечестием привлекает на голову народа кары аллаха.

Выжжены были самые торговые, самые цветущие кварталы столицы. «Султан хотел просторного места для своих военных парадов, – говорил один из арестованных, – мы исполнили его желание и очистили ему полгорода».

В Урфе, Диарбекире, Мардине, Мосуле, Багдаде происходили восстания феодалов. С трудом удалось привести в покорность крупнейших феодальных владельцев центральной и западной Анатолии: Кара Осман-оглу в Смирне и Чапан-оглу – в Анкаре.

Египетская угроза также не была окончательно ликвидирована. Магомет-Али снова восстал в 1839 году, перед

самой смертью Махмуда. Его войска уничтожили турецкую армию под Ниссибом, а посланный в Египет турецкий флот перешел на сторону врага. Пришлось вновь прибегать к русской помощи, соглашаясь на новые уступки.

Призванный в этот момент в правительство Решид-паша понял, что союз с Россией усиливает реакционные силы в Турции и ведет ее к превращению в русскую колонию. Он видел единственное спасение в немедленном проведении реформ и использовании той борьбы, которая началась между Россией и Англией за Проливы, а между Англией и Францией – за Египет.

Это было незадолго до того, как англичане бомбардировали Александрию и заставили Магомет-Али умерить свои завоевательные планы. Впрочем население Сирии и Восточной Анатолии скоро убедилось, что деспотизм египетского наместника мало чем отличается от турецкого гнета. Крестьянское население Палестины и Египта восстало против него. Об овладении Стамбулом нечего было и думать. Пришлось удовлетвориться согласием Порты обратить его наместничество в наследственное. Стамбул вздохнул свободнее. Решид-паша воспользовался этим, чтобы провести кое-какие реформы.

Мы видели выше, что реакционная партия не посмела помешать опубликованию хатишерифа Гюль-Хане. В дальнейшем реакционная партия усиливается и добивается удаления Решида. Абдул-Меджид весьма охотно удовлетворяет это желание улемов и придворной камарильи, ибо ему самому ненавистен этот либеральный министр, который, подражая имаму,[17] возглашавшему на торжественном селямлике:[18]

«Падишах, помни: аллах выше тебя», при всяком удобном случае говорил султану: «Закон выше падишаха». Но как только, под влиянием внешних затруднений или вспышек возмущения внутри страны, монархия начинала терять почву под ногами, султан спешил призвать Решида к кормилу правления. Так было, например, в 1848 году, когда революционная волна, прокатившаяся по всей Европе, вылилась в Турции в грозное валашское восстание, создававшее удобный предлог для русской интервенции.

Иногда в бессильной ярости слабовольный Абдул-Меджид восклицает:

– Магомет, да освободи же меня из рук этого человека!

Но его протесты дальше этого не идут. Решид оказывает влияние на дела государства даже тогда, когда его удаляют из правительства: с ним считается вся империя.

За границей реформы Танзимата расценивались по-разному. Для передовых промышленных стран, как Англия и Франция, они

были выгодны, так как обеспечивали «нормальные» условия для проникновения в Турцию иностранного капитала. Петербург же и Вена – злобствовали. Русское и австрийское правительства уже несколько лет вели переговоры о разделе наследства «больного человека». Реформы Танзимата могли вдохнуть новую жизнь в заживо разлагающуюся империю. В длинном письме к тогдашнему австрийскому посланнику в Стамбуле, графу Аппоньи, канцлер князь Меттерних выражал свое недовольство и порицал реформы, которые он называл «бесплодной и гибельной концепцией». Он советовал Турции не перенимать слепо европейские идеи (читай: идеи французской демократии), а вернуться к своей восточной самобытности.

Из всего дипломатического корпуса, присутствовавшего при обнародовании манифеста Гюль-Хане, лишь один русский посол Бутенев, от которого, впрочем, предусмотрительно до последней минуты скрывалась подготовка акта, открыто выразил свое недовольство «комедией», как он называл хатишериф.

Это неодобрение было знаменательным. Недаром Решид-паша говорил: «если что-либо, предпринимаемое мною, не нравится России, – я знаю, что стою на верном пути».

Если проведенные Решидом реформы и не могут считаться слишком радикальными, то все же в ту эпоху они значительно способствовали приближению Турции к уровню культурных наций.

Эти реформы составляют первую, раннюю эпоху Танзимата. Они заключались главным образом в переделке совершенно архаического законодательства, которым держались реакционные слои правящих классов и которое препятствовало всякому прогрессу страны.

В Турции до того времени все еще действовали законы начала XVI столетия, изданные Сулейманом Великолепным. Почти все дела разбирались и решались на основе корана и комментариев великих учителей ислама, живших тысячу лет тому назад. За убийство человека можно было отделаться выкупом; судили духовные судьи – кадии. В 1840 году был издан первый уголовный кодекс, а через несколько лет введено торговое и административное законодательство. Был отменен откуп налогов, приводивший к сильнейшим злоупотреблениям и бывший разорительным, как для населения, так и для казны.

Улица в Смирне.

Вместо него была введена более централизованная система собирания налогов через специальных чиновников, – новшество, восстановившее против Решида могущественных ростовщиков, интересы которых были нарушены этой мерой и которые вскоре добились ее отмены. Были проведены реформы в армии и сокращен до 5 лет срок военной службы.

Провозглашенные хатишерифом гарантии жизни и имущества создавали первые предпосылки усиления буржуазии и привлечения ее капиталов для развития экономики.

«Турецкое господство, – писал Энгельс, – в самом деле несовместимо с капиталистическим обществом: накопленная прибавочная стоимость не обеспечена в руках сатрапов и пашей; не достает главного условия для буржуазной наживы: обеспеченности личности купца и его собственности».

Хатишериф Гюль-Хане если фактически и не создавал, то во всяком случае намечал эти условия.

Детство

Об'ятья матери во сне я только видел,
И, в мир прийдя, я этот мир возненавидел.

НАМЫК КЕМАЛЬ

Стамбульское правительство не любило, чтобы крупные провинциальные чиновники засиживались на своих местах. Долгое пребывание на одном и том же посту представляло ряд неудобств: чиновники сживались с местным населением, заводили дружественные связи, не так рьяно выколачивали всевозможные налоги и подати и даже, в ущерб доходам центрального правительства, начинали тратить кое-какие средства на местные нужды – поправляли дороги, мостили улицы, строили мосты и плотины.

С другой стороны, пороги Высокой Порты всегда обивала толпа людей, имеющих высокое родство или связи, которым надо было предоставить доходное место. Поэтому, едва какой-либо губернатор, вице-губернатор или начальник округа успевали обжиться в провинции, их снимали под каким-либо предлогом и вызывали *в* Стамбул, где они в свою очередь бегали несколько месяцев по канцеляриям и по передним высоких особ, пока не получали нового назначения.

Дед Намык Кемаля по матери, Абдулатыф-паша, албанец по происхождению, был одним из типичных представителей этого слоя чиновничества. Не имея ни большого состояния, ни прочных связей в высоких стамбульских сферах, он всю свою жизнь кочевал по многочисленным пашалыкам и санджакам[19] Румелии и Анатолии, с трудом дослужившись до титула паши и должности провинциального вице-губернатора и совершая время от времени очередное паломничество в столицу.

В конце тридцатых годов, во время одной из таких переброс, прожив с семьею несколько месяцев в Стамбуле, он воспользовался этим, чтобы выдать замуж свою дочь Зехру – любимицу семьи.

Дело это представлялось несколько сложным, так как, с одной стороны, паша искал хорошую партию, а с другой – ни за что не хотел отдавать дочь в чужой дом. Надо было, следовательно, подыскать приличного молодого человека, который бы согласился быть «домашним зятем», по тогдашнему

турецкому выражению, т. е. жить в доме тестя.

После недолгих поисков Абдулатыфу посчастливилось встретить скромного и серьезного юношу из довольно знатной, но окончательно разоренной султанскими конфискациями и впавшей в бедность семьи.

Бедность и незавидное положение жениха лишь на минуту заставили задуматься Абдулатыфа. Он прекрасно понимал, что сколько-нибудь состоятельный человек не согласится жить в семье родителей жены, то-есть быть почти на положении нахлебника. С другой стороны, Мустафа-Асым – так звали молодого человека – произвел на старика прекрасное впечатление. В детстве он натерпелся много горя, был свидетелем разорения и бедствия семьи, имевшей когда-то громадное состояние, и почти мальчиком должен был упорным трудом пробивать себе дорогу да еще помогать родным.

Отец Кемаля Мустафа-Асым-паша.

Он получил образование, которое в те времена полагалось иметь молодым людям из хорошей семьи, то-есть изучил персидский и арабский языки, старую поэзию и разные схоластические премудрости. Сверх того, он занимался и более практическими науками: историей, математикой и астрономией, а также граверным искусством.

Стесненное материальное положение не позволяло ему обзавестить своим домом, «как подобает всякому порядочному

турку», и «вхождение зятем» в дом старого, добродушного и сравнительно обеспеченного чиновника являлось для него неплохим выходом из положения.

Абдулатыф посоветовался с женой, та одобрила его планы, и вскоре состоялась свадьба; а через некоторое время вся семья уехала в Текирдаг – маленький солнечный городок на европейском берегу Мраморного моря, куда Абдулатыф был, наконец, назначен вице-губернатором.

21 ноября 1840 года, к великой радости всей семьи, у Зехры родился мальчик. Имя ему – Мехмед-Кемаль – дал сам старый паша, найдя это красивое сочетание в каком-то старом арабском стихе. Уже по одному тому, что дед назвал его не просто Мехмедом, а добавил еще прозвище Кемаль, что значит «совершенство», можно судить, какие чувства вызвало в семье появление ребенка.

Но счастье длилось не долго. Мальчику едва исполнилось два года, как умерла его молодая мать. Это было жестоким ударом для стариков и для Мустафы-Асыма, Кроме всего прочего, эта неожиданная смерть внесла и новое осложнение. Если при жизни жены положение Мустафы-Асыма в качестве «домашнего зятя» еще кое-как оправдывалось в глазах провинциального общества, то теперь его попросту сочли бы тунеядцем. Да и вообще оставаться в Текирдаге не имело смысла. Надо было ехать в Стамбул, искать службу, пытаться устроиться. При этих обстоятельствах, отец не мог и думать о том, чтобы взять с собою крошечного ребенка. Пришлось оставить его у стариков, которые, впрочем, и сами ни за что бы с ним не расстались, так как это было их единственным утешением после смерти горячо любимой дочери.

Маленький Кемаль рос в большом, поставленном на широкую ногу, доме деда. Абдулатыф не принадлежал к породе бережливых людей, откладывающих деньги на черный день. Когда он умер, после него ничего не осталось, кроме долгов. Семья всегда проживала без остатка все сравнительно большое жалованье. Впрочем, в то время так жили почти все крупные турецкие чиновники. Дело в том, что по существовавшему уже свыше века закону султан считался наследником всех государственных служащих и военных.[20] Это создавало «основание», как только становилось известным, что какой-либо из чиновников скопил себе поборами или взятками большое состояние, конфисковать все его имущество, предварительно казнив самого владельца. Этот закон был лишь незадолго перед тем отменен Махмудом II, но чиновники уже привыкли тратить все то, что они получали, дабы не вводить султана в искушение.

Семья ни в чем не нуждалась. Маленького Кемаля баловали и берегли пуще глаза. Вместе с тем уже с первых лет его жизни старики заботились о его воспитании. Его бабка, Махдуме-ханым, принадлежала к редким в то время женщинам, которым родители давали какое-то образование. Хотя ее и воспитывали в старом духе, но она отнюдь не чуждалась новых идей, все чаще и чаще просачивавшихся в турецкое общество. Уже в первые годы своего существования Кемаль рос не в той узко-фанатической атмосфере патриархального дома, которая царила в большинстве тогдашних зажиточных семей. Впоследствии он всегда вспоминал с теплым чувством признательности о том влиянии, которое оказала на его развитие старая бабка.

Абдулатыф-паша оставался в Текирдаге довольно долго – около девяти лет. За это время мальчик подрос, окреп, обучился читать и писать. Затем наступило привычное уже для семьи перемещение. Нужно было ехать в Стамбул, жить там несколько месяцев, хлопотать о новом назначении.

В столице семья поселилась в большом старом доме в квартале Филиокушу. Ребенок продолжал жить со стариками, но для него появилась возможность постоянного общения с отцом. К этому времени Мустафе-Асыму удалось уже устроиться. Его ум и образование помогли ему выдвинуться. В то время люди, знавшие какие-либо европейские науки, были редкостью, а при правительственном курсе реформы в таких людях ощущалась особенно острая потребность. Всесильный визирь Решид-паша покровительствовал наукам. Мустафа-Асым получил чиновничью должность, открывающую путь к высокой карьере, а впоследствии был назначен дворцовым астрономом. Его материальные дела поправлялись, но он еще жил холостяком, попрежнему остро переживая утрату горячо любимой жены. Возможность часто видеть сына, беседовать с ним, следить за его развитием было для него большой радостью. Старая бабка поощряла это общение между сыном и отцом, вылившееся в настоящую дружбу, несмотря на то, что Кемалю было всего девять лет.

Она часто посылала мальчика в дом к отцу, где он проводил интереснейшие часы, слушая бесконечные рассказы отца, об остром уме которого Кемаль впоследствии не раз отзывался с восхищением. Привлекало ребенка и замечательное граверное искусство Мустафы-Асыма. Он мог часами сидеть около отца, смотреть, как тот ювелирно-тонко вырезывает какую-либо замысловатую вязь арабской надписи, и слушать его рассказы, извлеченные из трудов старых турецких историографов, которыми увлекался Мустафа-Асым и которые он передавал чрезвычайно красочно. Так Кемаль еще ребенком познакомился с

историей расцвета и упадка Оттоманской империи, что на всю жизнь породило в нем любовь к историческим наукам. Впоследствии самым страстным желанием его было написать подробную историю Турции. Смерть застала его как раз за этим, далеко не законченным трудом.

Но еще больше, чем история, увлекали ребенка живые подробные рассказы отца об их роде и о всех тех притеснениях и гонениях, которым он подвергался со стороны султанов и дворцовой камарильи. Перед глазами впечатлительного и остролюбознательного мальчика живой вереницей проходили тени еще незабытых предков.

Отец Мустафы-Асыма, Шамседдин, прожил до ста девяти лет и, понятно, сохранил в своей памяти подробную хронику последних поколений. Благодаря ему Мустафа-Асым знал далекую родословную семьи и все те гонения, которые привели ее от знатности и богатства к крайней бедности.

Род отца Кемаля происходил от жившего в начале XVIII века в большом городе центральной Анатолии, Конии, крупного феодального землевладельца Бекир-аги. Среди потомков последнего были знаменитые полководцы, могущественные визири и стяжавшие славу поэты. Почти все, в той или иной мере, подвергались султанской немилости, а некоторые сложили свою голову на плахе.

Шамседдин пережил пять султанов, служил три четверти столетия и был неоднократно объектом султанской тирании. Уже тогда, когда он был глубоким стариком, при Махмуде II, все его состояние было конфисковано, и он буквально был выброшен на улицу.

Отец подробно рассказывал маленькому Кемалю все перипетии этой сцены, свидетелем которой он сам был:

– Когда посланные султаном солдаты пришли забирать имущество твоего деда, старик сказал им: «Берите все, что у меня есть, ничего не оставляйте, но не трогайте только этого старого коврика, на котором я творю намаз».[21] Но даже и эта скромная просьба не была удовлетворена. Старик вышел из своего богатого дома в чем был. Если бы не родня, приютившая его, он умер бы с голоду под забором.

Из состояния семьи, доходы от которого были когда-то не меньше, чем доходы целого округа, не осталось ничего. Мустафа-Асым вырос в крайней нужде, среди вечных горьких воспоминаний и жалоб семьи. Все слышанное и виденное в детстве он передавал теперь слово в слово сыну, выращивая в нем с самого раннего возраста возмущение против режима деспотизма и произвола.

Под влиянием этих рассказов история Османов начинала представляться мальчику в новом свете. Он видит в ней не только цепь блестящих завоеваний, геройских подвигов, громкой славы, но и бесчисленное количество темных, кровавых деяний, бессмысленных и отвратительных по своей жестокости.

Однажды, прерывая рассказ отца о царствовании Баязида I, он задал вопрос:

– Эфенди, вы рассказывали мне, что Баязид, когда был наследником, был достойным и смелым молодым человеком; как же случилось, что немедленно по восшествии на престол он велел убить своего невинного брата Якуба?

Мустафа-Асым горько усмехнулся:

– Сынок, – сказал он, – падишахи родятся в тот день, когда вступают на престол.

Много лет спустя, после восшествия на престол Абдул-Хамида, проводившего в бытность свою наследником коварную либериальную игру, Кемаль не мог не вспомнить этой пророческой фразы.

Кемаль был слишком мал, чтобы видеть и другую сторону медали. Если его предки кончали жизнь на плахе или разорялись по милости султанов и камарильи, то сами они в свою очередь являлись представителями той феодально-бюрократической военной верхушки, которая не менее жестоко расправлялась с простым народом и разоряла страну. Он понял это гораздо позже, но в то время, под влиянием рассказов отца, весь его род казался ему состоящим из благороднейших людей, невинных мучеников султанской деспотии.

Рассказы отца приохотили маленького Кемаля к чтению и зародили в нем жажду знаний. Пытливый, любознательный ум ребенка, его недюжинные способности и страстное желание учиться ставили вопрос о его дальнейшем образовании.

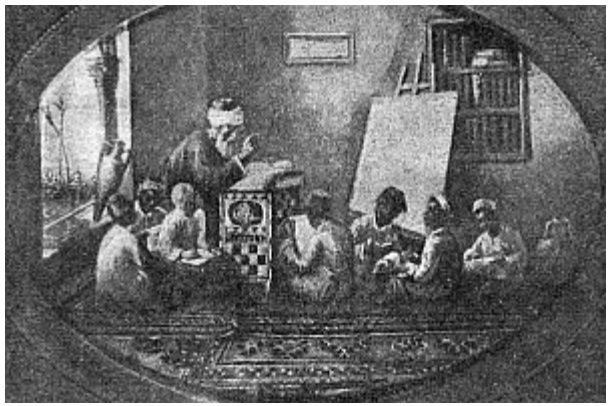
В дореформенной Турции не существовало светских школ. Образование было сосредоточено в руках духовенства. В первоначальных школах ходжи[22] учили мальчиков читать и писать, а также преподавали им начальные догматы ислама.

Розги, неизменная «фалака»,[23] висевшая в старое время на стене классной комнаты в каждой турецкой школе, считались испытанным средством для вколачивания в головы детей сухой и трудной мусульманской премудрости.

– Мясо твое – кости мои, – часто говорил учителю, по свидетельству народной литературы, отец, приводивший в школу сынка, что означало право ходжи бить ученика только до полусмерти и без членовредительства.

Особенно жестокие побои выпадали на долю бедных

учеников, за учение которых никто не платил и которые почитались как бы собственностью школы. Они отвечали часто и за шалости своих богатых товарищей, которых ходжа не смел наказывать.



Ходжа обучает детей знати (со старой турецкой картины).

– Не оставлять же проступка без наказания, – говорил в таких случаях учитель, – а этим все равно пойдет на пользу.[24]

По окончании первоначальной школы, для турецкой молодежи был открыт лишь один путь для продолжения образования – медрессе (духовное училище).

Сейчас, когда пишутся эти строки, прошло уже более десяти лет с тех пор, как республиканское правительство новой Турции ликвидировало эти гнезда и рассадники фанатизма, реакции и все иссушающей схоластики. Но и до сих пор во многих городах сохранились здания медрессе, носящие печать мертвечины и рисующие яркий образ печального прошлого.

Они все построены на один манер – эти медрессе. Обычно это большое одноэтажное здание, окружающее с трех сторон обширный двор мечети. Под портиком, поддерживаемым колоннами и идущим вдоль всего здания, несколько десятков дверей ведут в маленькие келейки с небольшим решетчатым окном пробитым в толще стены, а иногда просто освещенный застекленным отверстием в куполе. Вся обстановка такой кельи, похожей на тюремную камеру, состоит из низкого соломенного дивана и цыновки. Когда мальчик 12–15 лет, прошедший первоначальную школу или выучившийся читать и писать у домашнего учителя, попадает в медрессе и становится «софта», ему предоставляется такая келья, в которой предстоит провести за учением несколько лет.

Обычно медрессе пополнялись выходцами из средних классов, для которых была недоступна чиновничье-

административная карьера, монополизированная за детьми и родственниками знати и очень богатых людей. Существование софта было очень незавидным: скромную пищу, далеко недостаточную для молодого желудка и обычно состоявшую из пустой похлебки и каких-либо овощей, выдавало медрессе; остальное софта должен был покупать на свои деньги. Наиболее счастливые получали кое-какую помощь деньгами или продуктами от родителей – помещиков или богатых крестьян и торговцев, но при тогдашнем разорении всего населения страны таких было немного. Большинство жило впроголодь и зарабатывало чем могло: переписывали кораны и другие духовные книги, помогали сторожам подметать и убирать мечеть, прислуживали в доме учителей или носили им с базара провизию.

Обучение в медрессе длилось 10–12 лет. За это время софта успевал изучить арабскую грамматику, этику, риторику, теологию, философию, мусульманскую юриспруденцию – «шери», и наконец коран и сунну.[25]

По окончании медрессе софта приобретал звание «данишменд», т. е. «одаренный наукой», и мог стать ходжой или имамом. Если он хотел учиться далее и добираться до высших ступеней духовной юридической иерархии, он должен был делать это уже целиком на свои средства, что было доступно лишь весьма немногим.

После ряда лет нового учения он приобретал наконец первую ступень улема и мог получить должность провинциального кадия.

Улема – это была ступень, достигаемая немногими счастливцами. Толкователи всех темных мест мусульманской религиозной юриспруденции, без санкции которых не обходились часто даже правительственные распоряжения, они пользовались громадными привилегиями и в том числе гарантией сохранности жизни (что по тогдашним временам было далеко не маловажным), ибо священный закон запрещал проливать кровь улема. Правда, в истории можно найти много примеров, когда этот закон остроумно обходился султанами, для которых это высшее духовное сословие было одновременно и поддержкой и вместе с тем силой, которой приходилось опасаться. Так Мурад IV, боровшийся с попытками духовенства ограничить его самодержавную власть, чтобы не нарушать закона, велел истолочь в ступе (без пролития крови!) непокорного шейх-уль-ислама. Закон был в точности соблюден – султан не пролил ни капли запретной крови.

Но все же по сравнению с другими классами населения, для которых топор палача был постоянной угрозой, улемы могли

чувствовать себя сравнительно спокойно.

Таков был путь просвещения молодежи в дореформенной Турции и та высшая карьера, которой мог добиться юноша из зажиточной семьи в результате долгих лет учения.

Реформы Танзимата изъяли из ведения религиозного закона многие из сторон общественной жизни; зарождение в Турции капиталистических отношений требовало светской инетллигенции, изучившей современные, прикладные науки. В Турции впервые открылись гражданские школы, получившие название «рюштие». Конечно это были весьма скромные очаги светской науки. В них так же, как и в медрессе, наибольшее внимание уделялось изучению духовных и схоластических наук, кроме того, по объему своей программы они не соответствовали даже европейской средней школе, но все же в них преподавались и общеобразовательные науки, что по тогдашним временам в глазах ретроградов было настоящим святотатством.

Ко времени переезда семьи Абдулатыф-паши в Стамбул там уже существовало несколько таких школ. Посовещавшись, дед и отец решили отдать Кемаля в одну из них. Вначале его записали в «рюштие», расположенную поблизости мечети Баязида, в самом центре старого Стамбула, где сейчас помещается университет.

По утрам старый слуга отводил туда мальчика по сложному лабиринту узких стамбульских улиц. Они проходили мимо огромного сводчатого стамбульского рынка – «Бююк-Чарши», где у порога своих лавчонок сидели бородатые купцы в чалмах, перебирая четки и куря длинные трубки. Ремесленники тут же шили, строгали, стегали набитые шерстью или хлопком матрацы и одеяла. Медники оглушительно били молотками по громадным котлам и кастрюлям. Пронзительно кричали разносчики, продавая фрукты или холодную воду в длинногорлых, обвешанных колокольчиками, кувшинах. Над двором мечети Баязида кружились голуби. С минаретов муэдзины голосили эзан. [26]

Многих школьников неотразимо притягивала жизнь улицы. Они подкупали грошами водивших их дядек и убегали играть в орешки или в бабки в огромный двор мечети Сулеймание или толкаться среди базара. Но Кемаля улица не тянула. Учение для него было самым большим удовольствием. Он посещал первую школу в течение пяти месяцев, а затем его отдали в другую, ближе от дома, в квартале мечети Валидэ.

Учитель этой школы Шакир-эфенди был незаурядным человеком. Прекрасный педагог, любитель поэзии и сам писавший стихи, он напоминал своей речью, манерами и обхождением мудреца из старых рассказов. Ему достаточно было

увидеть мальчика, чтобы понять, какие способности заложены в нем. Кемаль своей недетской серьезностью, воспитанностью и знаниями значительно отличался от своих товарищей. Шакир-эфенди немедленно выделил его из их среды и начал обучать отдельно. Кемаль сильно привязался к учителю. Он рьяно принялся за занятия и в очень небольшой срок постиг то, на что для других детей требовались годы. Память у него была изумительная, иногда ставившая втупик учителя.

Однажды, по случаю раздачи ученикам наград, школу должен был посетить султан Абдул-Меджид. Для школы это было огромным событием. В ту пору для большинства населения султан был существом почти божественного рода. Шакир-эфенди написал ради торжественного дня большую оду в семьдесят двустиший. Прочитать ее перед султаном он поручил своему любимому ученику – Кемалю. Он позвал мальчика и сказал ему:

– Слушай внимательно; я прочту тебе стихи, а ты выучишь их хорошенько наизусть и прочтешь перед посетителями.

Едва он кончил чтение и передал листки Кемалю, тот вернул их ему.

– Ходжа-эфенди, ваша тетрадка мне не нужна – я уже знаю стихи наизусть.

И он тут же, почти слово в слово повторил оду. Окончив ее, мальчик сказал застывшему от изумления учителю:

– Видите, я не солгал, я знаю стихи, но читать их не решаюсь; мне будет стыдно выступать в присутствии падишаха и высоких особ…

– Дитя мое, – ответил учитель, – стыдиться тут нечего, ведь все они, перед кем ты будешь читать, попросту могильные плиты.

Впоследствии Кемаль, вспоминая свои школьные годы, часто говорил:

– На меня эти слова учителя произвели такое впечатление, что в торжественный день я прочел без запинки громким, не срывающимся голосом всю оду, как-будто я видел перед собой не падишаха с его пышной свитой, но, действительно, могильные плиты.

После этого всю мою жизнь, когда мне приходилось быть в присутствии султана, визирей и других важных особ, я не придавал им большего значения, чем могильным плитам.

Трудно найти более характерный штрих в формировании будущего борца с абсолютизмом. Не только в то время, но и шестьдесят-семьдесят лет спустя для темного, забитого населения Турции, воспитанного в диком религиозном фанатизме, падишах все еще продолжал оставаться «тенью аллаха на земле». И вот, незаметный школьный учитель простой фразой на всю жизнь

рассеивает у своего ученика священный трепет перед фетишем, созданным веками мракобесия.

Прошло еще несколько месяцев. Мальчик усердно посещал школу. Учение и беседы с учителем были для него приятнее всех забав со сверстниками. Общение с отцом становилось все привлекательнее. Но внезапно все пришлось бросить. Абдулатыф-пашу назначили в Каре, и семья начала готовиться к далекому путешествию. Для Кемаля это было первым серьезным ударом в жизни. Он просил, чтобы его оставили в Стамбуле, но дед и слышать об этом не хотел. Жизни без внука, которым он теперь справедливо гордился и которого искренно любил, он себе не представлял. Интересно для характеристики внутренних отношений семьи, что 10—11-летнего мальчика убеждали ехать, вместо того чтобы обратиться к нему с недопускающим возражения приказанием, как это должно было иметь место в патриархальном доме. И даже уже согласившись, ребенок выставил непременным условием поездки, чтобы для него приобрели и позволили взять с собою все те книги, список которых даст ему учитель Шакир-эфенди и которые необходимы для дальнейшего образования и чтения.

Улыбаясь и тайно гордясь столь серьезным требованием внука, Абдулатыф-паша дал слово. Однако, увидев список, он пришел в ужас. Там значилось несколько сот томов, и только для перевозки их понадобилось бы с десяток вьючных животных. Но старый паша не играл своим словом. Книги были честно куплены и взяты с караваном, перевозившим имущество семьи. В течение всей дороги Кемаль ни на минуту не забывал о своих книгах и на каждой остановке бегал присмотреть за тюками.

Путешествие в Каре было большим событием, произведшим громадное впечатление на мальчика. Путь был далек и труден. Надо было пересечь из конца в конец всю Анатолию, Путешествие длилось месяцы.

Вид на гору Олимп и Бруссу.

На пути лежали старые города, крошечные бедные деревушки, горы, озера, леса.

За роскошными фруктовыми садами Сабанджи и буйной растительностью ущелий Сакарии шли унылые голые скалы центрального плоскогория, потом снова громадные дикие горы со снежными вершинами, мрачными ущелиями, склонами, покрытыми могучим лесом. По вечерам небо пылало волшебными красками закатов, которых, кажется, не увидишь нигде, кроме беспредельных анатолийских пустынь. Там и здесь на высоких горных уступах паслись стада ангорских коз и баранов, казавшихся снизу насекомыми, кишащими на зеленой шапке горы. На ночлег останавливались часто в маленькой убогой деревушке, в бедной голой хатенке для путников, иногда в небольшом помещичьем доме или же в сером и грязном хане, построенном для больших верблюжьих караванов, круглый год бороздящих из конца в конец безграничные просторы Азии.

Здесь по вечерам можно было наслушаться чудесных рассказов. Анатолийские караваны всегда играли в местечках и деревнях, заброшенных в глухие дебри на сотни километров от крупных центров, роль газеты, книги и театра. Никто не разносит так быстро новостей, как водители караванов, и никто не знает столько занимательных историй, как они. Они много раз побывали и в Мекке, и в Дамаске, в Иране,[27] в Афганистане и даже в Индии. Они таскают с собою музыкальные инструменты и искусно поют всевозможные песни. Если среди них есть зеебеки[28] или жители других местностей, славящихся танцами, они и станцуют перед толпой селян, немедленно стекающихся в хан, как только туда явится караван. А затем они открывают свои тюки и начинается торговля. У них есть неисчерпаемый запас чудесных вещей, от которых у жителей разгораются глаза. За домотканную пряжу, маслины, табак, опий, а иногда и золотую монету, тут же снятую с женского мониста, караванщик оставляет деревне всякую необходимую в быту мелочь. Затем мало-по-малу все умолкает; расходятся селяне, обсуждая новости и качество покупок, погружаются в сон усталые караванщики, и только верблюды, лежа на земле, долго шевелят губами, пережевывая жвачку.

Но помимо всего этого нового, неизведанного, столь пленительного для детского возраста, не укрылось от взора не по годам серьезного и вдумчивого мальчика и многое другое. На всем протяжении бесконечного путешествия он видел перед собой разоренную страну, как-будто волна варварского, все

уничтожающего иноземного нашествия только-что прокатилась по ней. Покинутые поля, некогда возделываемые, а ныне заросшие бурьяном нивы; заброшенные сады и виноградники; высохшие теперь, а ранее столетиями заботливо поддерживаемые арыки, вдоль которых печально стояли оголенные, мертвые тополи и ивы. Многие села казались покинутыми: в них оставались лишь старики, женщины и дети. Здесь прошли наборщики рекрутов с жандармами. Кто успел – бежал в горы и прятался там; кого застали в деревне – безо всякого разбора забрали в армию.

Там, где еще оставалось крестьянское население, оно выглядело страшно обнищавшим, забитым, голодным. Провинциальная администрация, кадии, духовенство, сборщики ашара (десятины), помещики и ростовщики отнимали у крестьянина нее, что у него было. Как жадная саранча, опустошали они страну. Мужчины посмелее уходили в горы, образовывали там большие банды, грабили помещиков, проезжих, маленькие местечки. Детей продавали в рабство. Множество сильного, здорового народа уходило в города, в услужение к зажиточным людям, вокруг которых в Турции всегда жила масса бесполезной челяди. Точно высчитано, что в первой четверти XIX века в Турции было не менее миллиона рабов и слуг в домашнем услужении, то-есть не занимавшихся производительным трудом.

Нанимались за ничтожную плату или совсем без денег, за кусок хлеба, за полуголодное существование. Именно благодаря этому повальному бегству с земли турецкий городской быт поражал европейских путешественников обилием домашней челяди, насчитывающейся десятками даже в среднезажиточном доме.

Дороги были запущены и приведены в ужасное состояние. Древние торговые пути, прокладка которых теряется в глуби веков, заботливо поддерживавшиеся треками, римлянами, арабами, давно уже были побеждены пустыней. О них напоминали лишь немногие сохранившиеся еще участки, мощеные крупным булыжником и громадными каменными плитами. Горные дороги были завалены оползнями, источены размывами; ездить по ним было опасно. В долинах дороги покрылись камнями, нанесенными бурными потоками. Весной и осенью дороги эти превращались в густое, известное в Анатолии под именем «османская грязь», красное месиво, по которому могли проехать лишь деревенские арбы с их досчатыми колесами без спиц.

Эти арбы, влекомые худыми буйволами, давали о себе знать ужасным скрипом за Много километров. И такими же тягучими и

тоскливыми, как этот скрип, были песни крестьян, шагавших по грязи или в пыли рядом с упряжкой.

Мелкие торговцы Анатолии.

Картина родного края, такого беспредельно обширного, таящего богатства в каждой горсти плодородной земли, и такого бедного и разоренного, произвела неизгладимое впечатление на маленького Кемаля.

Когда семья приехала в Каре, и без того всегда серьезный мальчик стал мрачным и нервным. Романтизм суровой горной местности, с ее полудиким населением и грозной крепостью – передовым оплотом против страшного соседа – России, не вызвал в нем тех детских переживаний, которых можно было ожидать. Как это ни странно, но здесь, за тысячу километров от столицы, он постоянно уносился мыслями туда. Ни игры, ни развлечения не занимали его. Целые дни он проводит за книгами или, забившись в угол, погружается в думы. По вечерам он часами сидит перед открытым окном. Во сне его мучат кошмары, и ему часто снится, что его отца постигла участь прадеда Мюдерис-Османа, и палач заносит над его шеей страшный топор.

Нервы ребенка окончательно расшатались. К счастью, старая бабка внимательно следила за ним и заметила, что происходило в душе ребенка. Так как мальчик упорно чуждался других детей и отказывался от игр, она решает использовать, как лекарство, его интерес к природе. Кемалю покупают хорошую арабскую лошадь, охотничье ружье и дают в дядьки урядника Кара Вели-агу. Сначала мальчик неохотно оставил книги и одинокие мечтания ради охоты, но затем юность взяла свое.

Далекие прогулки по живописным окрестностям, увлекательная скачка по полям и холмам, а в особенности общество старого солдата, смелого и искусного джигита, знавшего много занимательных историй, истинного сына этой бедной и суровой страны, заставили мальчика забыть свои

грустные мысли.

Кемаль ни за что не хотел прекращать начатое в Стамбуле учение. Школ в Карсе не было. Ходжи, учившие детей чиновников, военных и крупных купцов, были сами по большей части грубыми невеждами. Абдулатыф-паше с трудом удалось найти для внука более или менее приемлемого наставника. Это был старый шейх,[29] считавшийся в Карсе ученым человеком. Конечно, ему было далеко до Шакир-эфенди, но мальчик полюбил нового учителя и с удовольствием брал у него уроки. Особенно он привлек Кемаля тем, что сочинял стихи. Несмотря на молодой возраст ученика, он посвящал его в различные тонкости мистической философии, читал ему отрывки из знаменитого произведения короля османских поэтов – Джелалэддина-Руми, «Месневи». Мало-помалу Кемаль увлекся поэзией. Он стал мечтать, что сам когда-либо будет знаменитым поэтом.

У шейха среди прочих старых книг были произведения известных старинных поэтов: Наби, Сюмгюль-заде, довольно вольного, анакреонтического содержания. Он не колеблется, однако, дать их читать мальчику. Одновременно он учит его формам и правилам старого стихосложения. И в двенадцать лет Кемаль пишет свое первое двустишие на старинный манер, несколько напыщенное, не совсем складное, но отражающее далеко не детское настроение этого ребенка.

В дни крымской войны

Не будь любви и горестей ее,
Кто б пел тогда и кто бы слушал.

ЛЯТИФИ КАСТАМУНИ

(турецкий поэт XVI столетия)

Кемалю было 13 лет, когда его деда отозвали из Карса.

Снова длинный переезд, и все та же печальная картина, ничуть не изменившаяся за эти годы. В Стамбуле – радостное свидание с отцом и возобновление старых бесед на исторические и другие темы.

В школе мальчику делать уже больше нечего. Уровень его знаний был значительно выше, чем у сверстников. По его просьбе ему берут частных учителей, у которых он усердно учится арабскому и персидскому языкам. Через 8–9 месяцев Абдулатыфа назначают начальником округа в Софию. На этот раз Кемаль уезжает без всякого сожаления: его притягивают новые впечатления и, кроме того, он знает, что в Софии он может продолжать захватившее его учение. Его отец также уезжает в г. Филибе финансовым чиновником.

Со времени провозглашения хатишерифа Гюль-хане прошло пятнадцать лет. Итоги первой эпохи «Танзимата хайрие» (благодетельных реформ) были весьма незавидны. Реформы, которые стремился проводить Решид-паша в интересах национальной буржуазии, неизменно саботировались придворной камарильей, часто сменявшимися временщиками и провинциальными сатрапами. Могущественная духовная каста ревниво оберегала свои привилегии, которых не решались коснуться даже самые смелые реформаторы. Христианское население, которому хатишериф торжественно обещал равенство, оставалось фактически все той же бесправной «райя». Улучшилось лишь положение высших чиновников: сейчас они были все же более или менее гарантированы от старой системы шелкового шнурка и отравленного кофе.

Лавка шорника.

В этих условиях национальный капитализм мог развиваться лишь крайне медленно. С другой стороны, быстрый рост капиталистической промышленности в Европе требовал колониальных рынков, и отсталая Турция могла быть использована для этих целей.

В России промышленный капитализм делал свои первые успешные шаги, и хотя в результате низкой производительности труда русские ткани обходились дороже, но все же доставлять их по рекам и Черному морю было несравненно дешевле, чем везти из далекого Манчестера.

Русское стремление проложить оружием путь торговому капиталу и удовлетворить стремления помещичьих кругов, заинтересованных в сбыте продуктов, задевало существенные экономические интересы Англии, а вслед за ней и Франции. Такова была экономическая подоплека, которая привела к Крымской войне.

Шел 1854 год. Уже несколько месяцев, как Турция была втянута в войну с Россией. Николаю I, считавшему себя после кровавого подавления венгерской революции вершителем судеб Европы,[30] хотелось скорее овладеть наследством «больного человека», которого он в кругу своих министров называл «умершим человеком». В начале 1853 года в Стамбул прибыл чрезвычайный посол русского императора, князь Меньшиков. Он привез ряд ультимативных требований турецкому правительству и в том числе требование о признании за Россией права не только на религиозную, но и на политическую опеку над всем православным населением Турции. Мало того, Турция должна была держать этот ультиматум в секрете от европейских держав.

Начался знаменитый спор о «ключах к вифлеемскому храму»; спором этим были замаскированы прозаические экономические причины Крымской войны. В Петербурге составляли фантастические планы захвата врасплох Стамбула. Русские

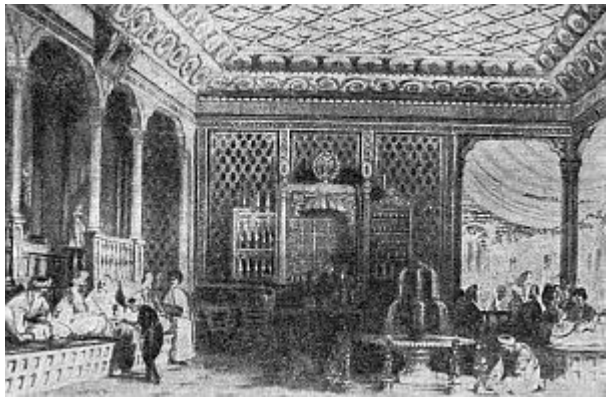
войска были введены в придунайские княжества. 20 октября Николай I обнародовал манифест о начале военных действий, а 18 ноября адмирал Нахимов сжег весь турецкий флот в Синопской бухте.

Но буржуазная Европа, кровные интересы которой были сейчас затронуты наступлением «ситцевого империализма» Николая I, уже успела на время примирить свои противоречия и составила коалицию против слишком торопливого претендента на турецкое наследство.

8 октября английская и французская эскадры вошли в Босфор, и о взятии врасплох Стамбула не приходилось более думать. «Верный союзник» – Австрия, от которой Николай ожидал вечной признательности за спасение от революции, вела даже не двусмысленную, а прямо угрожающую политику, в результате которой дунайская кампания становилась опасной. Надежды на русофильские тенденции торийского[31] правительства Англии рассеялись, как дым, после Синопской победы. Разгром турецкого флота, в турецкой гавани, после того как Англия формально поручилась за неприкосновенность турецких портов, разгром почти на виду английских военных кораблей, стоявших в Босфоре, – был пощечиной, которую умело использовали либералы – представители интересов хлопчатобумажной индустрии Манчестера. Вопрос о разрыве с Россией сделался вопросом жизни и смерти торийского министерства.

«Меня обвиняют в трусости», – говорил русскому послу министр иностранных дел, лорд Эбердин. – «Я не смею показаться на улице, я не могу больше бороться».

Принца Альберта, мужа королевы Виктории, считавшегося сторонником сближения с Россией, толпа встретила свистками при открытии парламента. Глава враждебных России вигов.[32] Пальмерстон, недавно демонстративно вышедший из кабинета, был вновь приглашен в правительство. На Дунае, под Силистрией, русские терпели неудачу за неудачей. Европейская война с Россией была неизбежна, и Турция стала участницей этой войны.



Богатая стамбульская кофейня XVIII столетия.

Несмотря на близкое соседство с театром военных действий, жизнь в Софии текла по старому тихо и спокойно. Мусульманское население города состояло, главным образом, из военных, чиновников, сборщиков податей, духовенства и помещиков, съехавшихся сюда из деревень, где они чувствовали себя в опасности. Свободное время они проводили в многочисленных кофейнях, напоминавших кофейни Стамбула и анатолийских городов. Посетители часами сидели здесь за маленькой чашкой густого ароматного кофе или посасывая предлинную трубку наргиле со смирнским табаком, под стук костяшек нардов.[33] Обычно такие кофейни имеют постоянных клиентов, которые, облюбовав одну из них, изо дня в день ее посещают, встречаются здесь с людьми своего круга, заводят знакомство с другими клиентами. По вечерам притягательной силой кофеен, при отсутствии в то время театров и иных развлечений, являлись сазы.[34] Обычно – это трио или квартет из струнных восточных инструментов, вроде домры. От времени до времени в инструментальный ансамбль вплетается пение одного или всех музыкантов. Мотивы и манера пения, конечно, специфически восточные. Слова песни или заимствованы из старых поэтов, или же сочинены самими певцами.

Софийские кофейни славились своими сазами и песнями, сочинявшимися самими исполнителями.

Кемаль, которому было тогда не более 14 лет, вскоре стал усердным посетителем этих кофеен. Он познакомился со многими молодыми завсегдатаями, участвовал в их диспутах о достоинствах той или иной песни, или тех или иных исполнителей. Молодые люди сами писали небольшие стихотворения или загадки в стихах, а потом соревновались в их разгадывании. Хотя Кемаль был самым младшим из этой компании, но живостью ума, способностью разгадать самую

сложную загадку, хорошо срифмовать какое-либо изречение он быстро завоевал всеобщие симпатии.

Однако, увлечение поэзией сазов было недолгим. Мальчика тянуло к чему-то иному, более серьезному, но никто не мог указать ему дороги. Как его прежние наставники, так и все окружавшие его сейчас превозносили достоинства старой классической поэзии. Ему стало казаться, что только изучение ее избавит его от гнетущей неудовлетворенности, и он вновь погрузился в свои книги. Язык их был труден, наполнявшая их мистическая философия была туманной и непонятной. Когда он раньше читал эту поэзию, его привлекала лишь ее звучность и внешний блеск; теперь он старался добраться до смысла, и это было чрезвычайно трудно.

Кемаль искал учителей, которые помогли бы ему разобраться в тонких филигранных метафорах и в изящной игре слов Фузули, Бакы, Неф'и, Недима и других прославленных османских поэтов. Кое-что из этих стихов ему давал читать еще в Карсе его учитель шейх, но тогда они казались ему совершенно непонятными. Сейчас, помимо их звучности, впечатление глубокого сокровенного смысла неотразимо притягивало Кемаля. Под их влиянием он сам начинает писать ряд довольно примитивных подражаний. Одновременно он углубляет свои занятия арабским и персидским языком и с помощью учителей прочитывает ряд книг, и в том числе знаменитый «Гюлистан» персидского поэта Саади.

В первые месяцы пребывания в Софии дед старался отвлечь Кемаля от серезного не по летам образа жизни. Одним из любимейших развлечений тогдашней чиновничьей провинциальной знати были большие пышные охоты. Сотни людей на кровных лошадях с доезжачими, егерями, со сворами дорогих собах целыми днями охотились в окрестностях, где всякого рода дичь была в изобилии. Вытаптывались крестьянские поля, собаки травили деревенский скот, селян насильно отрывали от работы и заставляли итти загонщиками.

Кемаля эти забавы отвлекли лишь на короткое время. К тому времени в юноше развилась сильная чувствительность. Беспощадное и ненужное истребление безобидных зверьков ради прихоти скучающих горожан скоро начало внушать ему настоящее отвращение. Как-то он застрелил молодую лань, к трупу которой тут же доверчиво подбежали детеныши. Эта сцена так ужаснула его, что он бросил ружье и, плача, поклялся никогда больше не охотиться. Клятву эту он сдержал до конца жизни.

К этому периоду относится начало серьезного критического подхода Кемаля ко всему его окружающему. До сих пор в его

глазах дед был наилучшим, добрейшим и благороднейшим человеком в мире. За его заботы и любовь Кемаль платил ему восторженным преклонением и глубокой детской привязанностью. Проникнутый инстинктивной жалостью к несчастному бесправному народу, погибавшему в бедности и нищете, наслушавшись с детства рассказов отца о жестокости и деспотизме султанов, Кемаль не отдавал себе отчета, что его симпатичный, добрейший дед является одним из орудий этого угнетения и эксплоатации. Жизнь в Софии, когда он стал более сознательно смотреть на окружающее, открыла ему глаза на многое. Это повело к ряду столкновений с дедом. Так, однажды Кемаль возмутился тем, что Абдулатыф-паша взимает особый сбор со всех приходящих в окружное управление. Этот сбор, называвшийся тогда «крыльцовым сбором», узаконенный обычаем и считавшийся дозволенным, заставлял бедное население избегать обращаться к властям даже в случаях насущной необходимости. Кемаль много раз говорил об этом в присутствии деда и однажды резко назвал этот сбор хабарничеством. Надо знать весь строй патриархальной турецкой жизни и то, впитанное с молоком матери, чувство глубокой почтительности к старшим, столь характерное для турецкого юношества даже более близкой к нам эпохи, чтобы понять всю смелость этого первого «политического протеста» Кемаля.

Кемалю едва исполнилось 15 лет, когда, повинуясь существовавшему тогда обычаю, его женили.

Несмотря на ряд довольно подробных биографий Кемаля, из которых одна написана его сыном, мы менее всего знаем о семейной его жизни. Даже имя его жены не упоминается в воспоминаниях о нем, в то время как до нас дошли имена его бабушки, его матери и даже мачехи.

Кто и какова собой была эта молоденькая девушка, заглазно выданная замуж волею родителей за такого же подростка, как и она сама? Любил ли Кемаль эту женщину – мать его нескольких, горячо им любимых детей? Каковы были их отношения в тот период, когда оба они еще были на грани детского возраста? Обо всем этом биографы Кемаля молчат, повинуясь, очевидно, старинному турецкому обычаю, в силу которого еще не так, давно считалось неприличным спрашивать турка о его жене или дочери. Во всяком случае, брак не помешал Кемалю всецело погрузиться в свои литературные, а затем и политические занятия.

Косвенно из самых произведений Кемаля можно заключить, что обычай заочного брака, без согласия брачующихся, вызвал глубокий протест юноши. В одной из своих драм «Несчастный ребенок», написанной во время заточения в Магозской крепости, в

1873 году, он рисует яркую картину переживаний молодой девушки, судьбой которой, не считаясь с ее чувствами и желаниями, распоряжаются родители. Несомненно, что пребывание в Европе и чтение романтической европейской литературы дало Кемалю ту канву, на которой была создана эта драма; в частности, в ней можно усмотреть некоторое подражание «Даме с камелиями» Александра Дюма, но в ней все же были и самобытные элементы, так как автор дал типичную картину турецкой жизни.

Молодая девушка, Шефика, любит своего кузена, молодого студента-медика, живущего в их доме, с которым она росла вместе до того «канонического» возраста, когда девушке надевают покрывало и запрещают всякое общение с мужчинами. Разоренная семья, чтобы выйти из тяжелого положения, заставляет девушку, отчасти пугая ее перспективами долговой тюрьмы и бесчестия, грозящих отцу, выйти замуж за богатого старика. Дочь из чувства долга жертвует собой, но умирает от скоротечной чахотки. Ее возлюбленный принимает яд и умирает вместе с ней.

Конечно, содержание драмы ни в коей мере не заимствовано из семейной хроники Кемаля и не имеет никакой аналогии с его собственным браком, но в ней красной нитью проходит возмущение ветхозаветным укладом семейной жизни, делавшим из турецкой молодежи бессловесные жертвы самодурства, деспотизма или корыстных комбинаций родителей.

Пока Кемаль превращался в Софии из подростка в молодого человека, уже семейного и увлеченного поэтическим творчеством, в Турции происходили важные события. Впервые, после полуторавековых бесчисленных и ставших уже привычными поражений, Турция вышла из войны победительницей, вернее, участницей лагеря победителей. Севастопольская катастрофа на два десятилетия лишила Россию тех щупалец, которыми она уже почти дотянулась до горла Турции. Это была передышка. Русский черноморский флот, благодаря которому Стамбул не знал спокойных ночей, более не существовал. Облегчалось и положение славянских провинций на Балканах, где в первой половине XIX столетия появление русских армий и не менее опасные русские интриги среди феодальных славянских княжеств стали обычными явлениями. В Европе внешне перестали обращаться с Турцией, как с варварской страной, и даже номинально приняли ее в «европейский концерт».

18 февраля 1856 года Абдул-Меджид обнародовал новый манифест – хатихумаюн, которым вновь торжественно подтверждались либеральные основы акта Гюль-Хане и в

особенности много говорилось о расширении прав христианских меньшинств.

Но в сущности, Турция все больше и больше попадала под опеку Европы. Истощенная войной, ничего не выигравшая от нее экономически, Турция очутилась сейчас в сетях европейских ростовщиков. Растет оттоманский долг, Франция и Англия начинают строительство железных дорог в Турции, важных для их стратегических и колонизаторских целей, все главнейшие статьи турецкого хозяйства мало-по-малу переходят в иностранные руки. Единственной компенсацией за все являются лишь те денежные подачки, которые султаны и окружающая их жадная свора придворных и чиновников урывают у европейских капиталистов, расходуя эти деньги на постройки пышных дворцов и вилл и роскошную бездельную жизнь.

Правящая Турция внешне праздновала победу. Несмотря на либеральную трескотню акта хатихумаюн, реакция подымала голову. Приближавшаяся неминуемая катастрофа была отсрочена. Звуки победных литаврой заглушали гул недовольства широких масс населения. Появились новые источники дохода – внешние займы, позволившие несколько укрепить разваливающееся здание деспотизма. Старая Османская империя привстала с одра смерти.

Пребывание Абдулатыфа-паши в Софии продолжалось недолго. Едва кончилась война, как он был смещен и опять перебрался с семьей в Стамбул. На этот раз переселение было последним. Вскоре после переезда умерла Махдуме-ханым, а еще через несколько месяцев последовал за ней в могилу и старик.

Несмотря на все усиливающиеся трения с дедом, Кемаль тяжело пережил утрату. Немедленно же после смерти стариков дом и все, что в нем было, продали за долги, и молодой Кемаль, остававшийся в нем до конца распродажи, ушел оттуда буквально в чем был.

К этому времени отец его имел уже прочную и хорошо оплачиваемую службу и женился вторично. Кемалю не осталось ничего иного, как переселиться с женой в дом к отцу. Для семнадцатилетнего юноши началась новая жизнь.

Два пути

Нация без литературы подобна человеку без языка.

НАМЫК КЕМАЛЬ

Дом в квартале Хубъяр, где жил отец Кемаля, принадлежал его второй жене, Дюррье-ханым. Переселиться в него и жить с женой фактически на средства мачехи было для Кемаля тяжелым нравственным испытанием. Поэтому первым его шагом в новой жизни было поиски работы. Хотя он прошел лишь небольшой курс «рюштие», что равнялось приблизительно курсу двуклассного училища, но благодаря прилежным занятиям с частными учителями и учению на дому, он был образованнее многих своих сверстников и мог рассчитывать на должность чиновника. Действительно, немного спустя, благодаря его упорным хлопотам и связям отца, он был зачислен секретарем в Бюро переводчиков.

Бюро переводчиков было в то время важнейшим отделом министерства иностранных дел Высокой Порты. Оно было учреждено лишь после реформ Танзимата, и в нем были собраны наиболее образованные чиновники, из которых вербовались теперь новые дипломатические кадры, шедшие на смену старым дипломатам, часто совершенно безграмотными.

Должность Кемаля состояла главным образом в переписке различных бумаг и требовала хорошего почерка. Почерк же Кемаля в то время был весьма незавидным. Через несколько дней после поступления на службу министр Арифи-паша, страшный педант, считавшийся знатоком калиграфии, о которой он написал даже несколько трудов, вызвал Кемаля и велел ему написать несколько фраз. Взяв написанное, министр поморщился:

– Сынок, – сказал он, – ваш почерк напоминает следы улитки. Как это вы, такой образованный и способный, пишете таким почерком?

Эти слова задели за живое самолюбивого юношу. Он стал просиживать вечерами и ночами, изучая правила чистописания, написанные министром, и стараясь исправить почерк. Через три месяца он стал писать лучше и красивее многих профессиональных писцов. Это упрочило его положение в министерстве, где не столько нуждались в способных, знающих чиновниках, сколько в хороших писцах, в результате работы которых всякая бумага была приятна для глаз и могла быть

представлена высокому начальству, не очень-то интересовавшемуся ее содержанием.

Работа была монотонная и скучная, но Кемаль добросовестно ее выполнял, дорожа местом. Служба в министерстве имела и положительные стороны. Среди чиновников было много серьезных молодых людей, интересы которых не ограничивались четырьмя стенами канцелярии и красиво переписанными отношениями. Кемаль познакомился здесь с рядом товарищей, как и он интересовавшихся поэзией, литературой, историей. Поэтизирование жизни богемы, точно так же, как и в странах Европы, было тогда модным явлением в Турции. Старая персидская и османская поэзия, непременными мотивами которых было восхваление вина, опьянения, любви, толкали молодых людей к кутежам и романтическим приключениям. Условия их жизни имели кое-что общее с европейской литературной богемой. В Европе это была эпоха накопления капиталов. Торговая буржуазия откладывала все доходы в чулок и, посылая сынков учиться в столицу, держала их на голодном пайке. Турецкая молодежь также вела весьма тяжелое существование (не потому, что родители копили деньги, а потому, что они мало что имели) и отличалась той же беспечностью. На этом аналогия кончалась. Европейское юношество знало, что в один прекрасный день оно окажется обладателем крупных отцовских капиталов. Турецкую молодежь ждало весьма незавидное будущее. О романтических похождениях, в стиле Альфреда де-Мюссе или Стендаля, ей также не приходилось думать, так как отсталый строй жизни не позволял в Турции девушке переступить порога своего дома. Она голодала с родителями в опустевшем, холодном, разваливающемся доме, но не могла итти в работницы или мастерицы.

Романтически настроенной молодежи оставалось лишь платонически мечтать о любовных приключениях и всецело отдаваться вину, однообразным развлечениям кофеен и оторванной от жизни поэзии.

Кемаль прошел и через эту стадию. Со своими сверстниками он просиживает целыми вечерами в различных стамбульских кафе и кабачках: «Гюмюшхалкалы», «Алтынолук», «Сервили», «Кылыч», славившихся тогда в Стамбуле. Но это продолжалось недолго. Пустота жизни литературной богемы того времени скоро стала ему ясна. Он начинает разборчивее относиться к своим сотоварищам и сближается с теми, кто подобно ему более серьезно смотрит на жизнь и литературу. Среди записанных им в дневнике изречений мы читаем: «разгул по инерции подобен пиру

на кладбище».

В то время в Стамбуле начали выявляться два литературных течения. Представителями первого была большая группа уже признанных поэтов-корифеев, досконально изучивших старую арабскую и персидскую литературу, смаковавших ее напыщенный стиль и мистическое содержание и рабски подражавших ее застывшим канонам.

Другое течение – молодых – начало только намечаться. Появившееся в результате проникновения в Турцию западных идей и влияний, оно группировало вокруг себя небольшую кучку поэтов и журналистов, которых с презрением третировали старые литературные знаменитости.

«Молодые» требовали очистки турецкого языка от не понятных никому, кроме небольшой кучки знатоков, арабских и персидских выражений, отказа от мертвых классических форм: «диванов», «газелей»,[35] хвалебных од. Это требование молодых воспринималось представителями старого течения, как неслыханная ересь, как посягательство на сокровища литературного наследства. Кемалю, который посвятил свои юношеские годы овладению этой с трудом дающейся науки, также казалось, что вне старых форм не может быть поэзии. Вот почему вначале он очень холодно, почти враждебно, отнесся к новому течению и полностью примкнул к «классикам», объединившимся в группу, известную под именем «поэтического комитета». Из входивших в нее корифеев особой репутацией пользовались Ариф-Хикмет, Авни-Галиб, Исмаил-Хаккы, Халет, Мемдух, Наили-паша, Лескофчалы-Галиб, Эшреф-паша. Этот последний и дал Кемалю прозвище «Намык», что значит «великий».

Наибольшее влияние на Кемаля в смысле освоения старых форм оказал Лескофчалы-Галиб, о котором Кемаль с большим уважением отзывался до конца жизни.

Среди членов «поэтического комитета» большинство годилось Кемалю в отцы, Многие из них уже выпустили в свет не один сборник стихов, но, несмотря на это, Кемаль очень скоро занял среди них видное место. Его газели, написанные по всем правилам старой школы и говорившие о глубоком знакомстве с классической литературой, возбуждали всеобщее восхищение богатством, разнообразием и красочностью метафор, уподоблений, эпитетов, игравших первостепенную роль в старой поэзии.

В течение года Кемаль закончил свой первый «диван» лирических стихов.

Теперь он мог считаться настоящим поэтом. Часть книги

была написана совместно с видными членами «поэтического комитета», но уже и тогда было видно, что лучшими в сборнике были стихи, написанные самостоятельно Кемалем. Слава о нем распространилась по всему Стамбулу. Сами корифеи не гнушались цитировать его строфы, как образцы высокой поэзии. Кемалю в это время шел девятнадцатый год. Тогда же он впервые встретился с Шинаси, и эта встреча явилась поворотным моментом всей его жизни.

Шинаси

Несчастным назовут того, кто,
устрашась проклятия невежд,
Сойдет с пути стремления к
Познанью.

НАМЫК КЕМАЛЬ

Моя нация – человечество,
Земной шар – мое отечество.

ШИНАСИ

В шестидесятых годах прошлого столетия Стамбул[36] все еще оставался тем полуэкзотическим городом, который был так дорог сердцам французских колониальных романтиков – Пьера Лоти и Клода Фаррера.

Население оделось в европейское платье, но не рассталось с красной феской. Женщины не появлялись более в ярких шальварах и шитых шелком болеро, но попрежнему закрывали лица черным газом. Густые деревянные кафесы[37] продолжают ревниво охранять интимную жизнь патриархального мусульманского дома от любопытных взоров улицы. Уже не встретишь гордо выступающих в парчевых кафтанах, обвешанных драгоценными ятаганами янычарских старшин, но отвратительные обрюзгшие пергаментные лица евнухов мелькают на каждом торжественном приеме.

Годы Танзимата не дали Стамбулу фабрик, но на Пера и в Галате левантийцы открыли фешенебельные рестораны, дорогие увеселительные заведения, шикарные магазины, за громадными зеркальными витринами которых разложен соблазнительный ассортимент последних европейских мод. Голубые спокойные воды Босфора все еще бороздят раззолоченные каики с живописно одетыми гребцами, но, обгоняя их и обдавая молочной пеной из под шумно-бурлящих колес, проходят высокопалубные пароходы пригородного сообщения.

Попрежнему резкая грань разделяет жизнь двух главных частей Стамбула.

На европейском берегу Босфора, отделенные Золотым Рогом, как два смертельных противника, стоят друг против друга старый турецкий Стамбул и космополитические левантийские Пера и Галата. И хотя по широкому мосту, перекинутому через Золотой

Рог, переход из одной части города в другую занимает не более пяти минут, ничто не может заполнить вековой пропасти, разделяющей их.

Жизнь старого Стамбула вся в прошлом. О былой славе здесь кричит каждый камень: обелиски византийского ипподрома, мрачная громада Айя-Софии, разрушающиеся стены Топ-Капу, массивные, подавляющие купола мечетей Нури-Османие, Баязида, Сулеймание и, наконец, Султан-Ахмеда, с ее шестью устремленными в небо стройными минаретами – гордым символом господства Османов над мусульманским миром, ибо до постройки этой мечети лишь священная Кааба в Мекке могла иметь более четырех минаретов.

У подножия этих, довлеющих над жизнью города, несокрушимых цитаделей религии кишит мелкая торговля, влачит жалкое существование отмирающее цеховое ремесло, проводят вечера в маленьких закоптелых кофейнях, слушая рассказы медахов[38] и монотонную игру сазов, мелкие чиновники, проповедники захудалых мечетей и базарные менялы. Из деревень приходят «йорганлы»[39] в поисках какой-либо работы или за мелкими крестьянскими покупками.

Обветшавшие безглазые деревянные домики с окнами, выходящими на внутренний двор, образуют лабиринт узких кривых переулков. На каждом шагу – посеревшие могильные плиты с каменными тюрбанами у изголовья, говорящие о том, что здесь похоронен уважаемый шейх или просто богатый купец, и небольшие мавзолеи с полуразрушенным куполом, с осыпающейся известкой, на железных решетках окон которых навязано бесконечное количество грязных лоскуточков – свидетельство, как усердно молят жители квартала своего «эвлия»[40] о даровании здравия.

Вид на Стамбул со стороны Мраморного моря.

В кварталах позажиточнее, в небольших садиках, приютились

мрачные текке и дергяхи[41] бекташей, мевлеви, руфаи и накшибенди.[42] По вечерам здесь собираются для оргий, пьянства, курения опиума, одуряющих радений и чтений зекиров.[43] Мелкий ремесленник и купец с удовольствием становятся ревностными адептами «демократических» сект, разрешающих для мелкого люда все то, что строго осуждает официальная религия с ее аристократической иерархией улемов, имамов и муфтиев, считающих, что мистика, пьянство и разврат являются монополией лишь избранной верхушки. Некоторые из этих текке специализируются на привлечении туристов. Беззастенчивые гиды с таинственным видом приводят сюда богатых европейских путешественников и за несколько золотых дают возможность насладиться этой нехитрой, низкопробной экзотикой.

Вблизи от Айя-Софии расположился правительственный центр Турции – Высокая Порта и другие министерства, судебные учреждения, тюрьма, куда ведут, скованных друг с другом длинными цепями пойманных в горах крестьян, городских апашей и ремесленников, попавших в когти ростовщиков. Тут же, на площади, разложили свои маленькие столики уличные ходатаи, писцы и резчики печатей. Вокруг них толпятся бедняки, которым нужно составить прошение, передать взятку кадию или заказать печатку, чтобы проставить свою «подпись» под документом. В уличках и переулках, окружающих Высокую Порту, открыты маленькие ресторанчики, куда ходят обедать чиновники, и книжные лавки, где продаются рукописные кораны, «диваны» знаменитых поэтов и объемистые придворные историографии. Тут же расположились и типографии первых турецких газет. Здесь тихо и монотонно, и сюда не долетает даже эхо шумной, кипучей жизни по ту сторону галатского моста, где царит левантийская компрадорская буржуазия.

Вечером, когда старый Стамбул погружается в полный мрак, среди которого, как светляки, мелькают фонари расходящихся по домам жителей, на Пера блещут огни, гремит музыка ресторанов и кафе-шантанов, открываются для приемов залитые светом дворцы иностранных посольств и армянских банкиров. Внизу, у самого порта, в грязных переулках Галаты, нагие нарумяненные женщины сидят у порогов домов терпимости, бродят и дебоширят пьяные ватаги матросов, льется раки[44] и английский джин, угрожающе сверкают ножи.

По мере того, как ветшает и замирает старый Стамбул, богатеет и украшается эта часть города. Султаны давно уже покинули свою историческую резиденцию, и их новые роскошные дворцы стоят теперь у самого подножия Перá. Иностранные пароходы не заходят больше в Золотой Рог, а выгружают

свезенные со всего мира товары на набережные Галаты. Здесь возведены монументальные здания иностранных банков, в просторные мраморные холлы которых входят с неменьшим трепетом и благоговением, чем под купола мечети Султан-Ахмета. За счет всей разоренной, обескровленной Турции здесь полно бьется пульс иностранной и компрадорской торговли. И неудивительно, что на другом берегу Золотого Рога, в грязных базарных трущобах, в жалких грошевых кофейнях и в скромных чиновничьих ресторанчиках одни посылают проклятия разбогатевшим за счет их разорения гяурам, а другие мечтают о новом режиме, при котором был бы возможен прогресс страны.

1860 год является важнейшей датой в истории турецкой журналистики. В этом году была основана первая частная турецкая газета – «Терджюмани Ахвал» («Толкователь событий»).

До этого времени в Турции на турецком языке выходила лишь официальная газетка «Таквими Векаи» («Календарь событий»), основанная еще Махмудом II,[45] которая ограничивалась сообщением всяких официальных новостей, помещением высокопарных стихов вельможных писак, да хвалебных од всем власть имущим.

Новая газета, более живая по содержанию, сразу завоевала симпатии небольшого круга турецкой интеллигенции и прогрессивного чиновничества. Ее официальным редактором-издателем был некий Чапан-заде Агях-эфенди – директор почт, но все знали, что настоящим редактором и вдохновителем газеты являлся Ибрагим Шинаси-эфенди – один из видных сподвижников реформатора Решид-паши.

Шинаси.

Шинаси был типичным разночинцем. Ему было два года, когда его отец, офицер той знаменитой артиллерийской части, которая в трагические дни 1826 года решила на площади Этмейдан участь янычар, – погиб под Шумлой в бою с русскими. Ребенок вырос в нужде. Когда он окончил начальную школу, магь хотела отдать его в медрессе, чтобы сделать из него духовного, но потом ей удалось пристроить его в канцелярию арсенала Топ-Хане. Там на способного и талантливого юношу обратил внимание один из иностранных офицеров-специалистов – француз, граф Шатонеф.[46]

Почувствовав симпатию к Шинаси, французский офицер стал учить его по-французски и пробудил в нем вкус к европейской литературе. Благодаря протекции Шатонефа и помощника начальника арсенала – Зивер-эфенди, Шинаси удалось попасть в немногочисленную группу молодых людей, которых Решид-паша посылал за границу. Шинаси должен был изучить во Франции политическую экономию и разные финансовые науки.

Двадцатилетний Шинаси попал в Париж как раз в момент напряженной политической борьбы. Июльская монархия доживала свои последние месяцы. Европа была накануне грандиозной революционной вспышки, в которой такое активное участие принимал промышленный пролетариат.

В февральские дни 1848 года Шинаси со своими французскими друзьями участвует в политических манифестациях и, взобравшись на купол Пантеона, водружает на нем республиканский флаг. Тогда же он познакомился с рядом видных французских литераторов, ученых ориенталистов и, в частности, с Ламартином, Э. Ренаном и другими, оказавшими сильное влияние на его развитие. Перед Шинаси открылись двери парижских литературных салонов.

Он пробыл за границей пять лет. За это время он основательно изучил французский язык и французскую литературу и проникся убеждением в превосходстве европейской буржуазной культуры над заживо разлагающимся феодальным строем Оттоманской империи.

Нельзя сказать, чтобы соприкосновение с тогдашней, пылавшей в революционном огне Европой выработало из Шинаси настоящего турецкого революционера, как этого можно было ожидать. Молодой гурок, принимавший хотя и скромное, но все же какое-то участие в грандиозных революционных событиях Парижа, сразу превращается в умеренного либерала, как только дело идет о его собственной стране. Он не верит в революционно-

творческий порыв турецких масс или хотя бы даже передовых элементов Турции, и все его надежды и чаяния возлагаются на реформы сверху. Он преклоняется перед автором хатишерифа Гюль-Хане Решид-пашой и ждет от его либеральных реформ возрождения Турции. В посвященных Решид-паше стихах, которые он посылает из Парижа своим друзьям, он превозносит до небес основоположника Ганзимата.

> Эй, президент республики народных добродетелей,
> Своим законом ты ограничил власть султана.

– писал он в одном из своих стихотворений, употребив впервые в турецком языке слово «рейсиджумхур», ставшее 75 лет спустя, с момента объявления республики, официальным титулом главы турецкого государства.

Эти стихи так же, как и ряд других, были показаны друзьями и покровителями Шинаси Решид-паше. Когда Шинаси, окончив учение в Европе, вернулся в Стамбул, Решид-паша, несмотря на его молодость, предложил ему участвовать в двух крупных учреждениях: «финансовом комитете» и «комитете просвещения», созданных визирем для реформы финансов и народного образования.

Хотя Шинаси посылали в Париж для изучения специально экономических и финансовых наук, но к этому времени эти вопросы гораздо менее интересовали его, чем вопросы просвещения, языка, литературы. Поэтому он принял лишь второе назначение, а вскоре затем вошел еще в «научный комитет», также созданный Решид-пашой.

Задачей этого комитета было внедрение в Турции западных наук. Он состоял из крупных сановников, весьма косо глядевших на смелые нововведения и далеко не заинтересованых в коренных реформах; обстановка с самого начала сделала работы Шинаси бесплодными. Сменивший к тому времени Решид-пашу на посту великого визиря Али-паша, бывший вначале креатурой Решида, а впоследствии сделавшийся скрытым противником как самого инициатора Танзимата, так и проводимых им реформ, в первую очередь постарался дать совершенно иное направление деятельности «научного комитета».

Его первым шагом было устранение из комитета подозрительного Шинаси. Официальным предлогом для удаления послужило то, что Шинаси по европейской привычке брил бороду. Блюдя патриархальные, закрепленные вековой религиозной традицией, нравы.

реакционные члены «научного комитета» не могли допустить,

чтобы их коллега нарушал предписания «сунны». Новый великий визирь с удовольствием удовлетворил их желание, так как он знал, что старевший и чувствовавший приближение смерти Решид-паша видел в Шинаси своего возможного преемника, которого он надеялся противопоставить выращенным им, но оказавшимся ренегатами Али и Фуаду.

В своих стихах, получивших широкое распространение в рукописных списках, Шинаси едко нападал на Али, Фуада и одного из реакционнейших деятелей того времени, невежественного шейх-уль-ислама Ариф-эфенди:

> Носящий тюрбан Ариф, ей богу, ты шейх невежества,
> Богатый великими дурачествами и несчастный и бедный умом.

В ту эпоху оскорбление, нанесенное главе мусульманского духовенства, было не шуткой и могло кончиться печально для молодого западника. К счастью для него, Решид-паша вскоре вновь оказался у власти, и Шинаси был возвращен в «научный комитет». Преследования против него немедленно прекратились. Он смог спокойно работать до самой смерти Решид-паши (1858 г.).

К этому времени Шинаси завоевал расположение и приобрел покровительство другого крупного государственного деятеля – Юсуф Киамиль-паши. Хотя после смерти Решида Али и Фуад прочно взяли в свои руки бразды правления, но, не желая ссориться с Юсуфом Киамилем, они оставили Шинаси до поры до времени в покое. Однако он сам не захотел более служить, чувствуя, что всякая реформаторская деятельность «научного комитета» кончена.

Тогда-то явилась у негр мысль основать газету.

Сотрудничество его в газете Агяха «Толкователь событий» продолжалось всего несколько месяцев. Агях-эфенди, являвшийся собственником газеты, непрочь был предоставить ее страницы для всяких пресмыкающихся перед дворцом и правительством борзописцев. Рассерженный Шинаси расстался с ним и основал свою собственную газету, знаменитую в истории турецкой журналистики – «Тасфири Эфкяр» («Изображение мыслей»).

На этот раз это был уже не безличный, аполитический листок, но газета с положительной прогрессивной программой. К этому времени Шинаси особенно увлекался идеей распространения в народе европейских наук, реформой языка, созданием турецкой литературы по образцу европейской. По его мысли, новая газета должна была явиться могучим проводником

этих идей. Интересно, что с самого начала правительство пыталось подкупить его. Только что вошедший на престол Абдул-Азиз, не смевший еще вступить в открытую борьбу с реформами, как он сделал это через несколько лет, ознакомившись с первым номером газеты, послал Шинаси 500 золотых, что представляло по тому времени очень крупную сумму (около 12 тыс. руб. золотом). Но Шинаси отказался принять «подарок»:

– Мне не предстоит такого дела, – ответил он, – для которого понадобилось бы столько денег.

Этим он ясно дал понять, что купить его нельзя. Это был один из редчайших случаев в оттоманской истории, когда кто-либо отказывался от такой суммы, да еще подаренной самим падишахом.

С самого начала основания газеты Шинаси привлек в нее молодых талантливых и прогрессивных писателей, первое место среди которых занял Намык Кемаль. Это послужило основанием их кратковременной дружбы и оказало решающее влияние на всю дальнейшую жизнь, политическую и творческую деятельность молодого Кемаля.

Газета «Тасфири Эфкяр» выходила два раза в неделю; номер в розничной продаже стоил 60 пара (около 12 коп.). По тому времени газета расходилась бойко. В момент одной длительной полемики с газетой старого направления «Рузнаме», когда молодые сотрудники «Изображения мыслей», прекрасно знакомые со старой поэзией, уличали корифеев в невежестве даже в отношении столь превозносимой ими классической литературы, тираж газеты дошел до 24 тыс. экземпляров, то-есть до уровня, которого достигают и сейчас лишь немногие из турецких газет.

К той же эпохе относится и выпуск Шинаси небольшого сборника переводов французских писателей: Расина, Ламартина, Лафонтена, Жильбера, Фенелона. Интересно, что Шинаси усердно подбирал для этого сборника те из произведений, которые заключали в себе смелые выпады против абсолютизма.

Выше мы говорили, что вначале Кемаль чуждался «молодых» и примкнул к обществу корифеев, среди которых, как ему казалось, он сможет постигнуть высшие откровения классической поэзии и той таинственной заманчивой мистики, носительницей которой она являлась. Но уже скоро его охватило разочарование. Познакомившись с ними поближе, он увидел, что за пышными, высокопарными формами скрывались интеллектуальное убожество и реакционная ненависть ко всему новому, прогрессивному.

Знакомство его с Шинаси состоялось при следующих обстоятельствах: как-то он отнес в редакцию «Тасфири Эфкяр»

переведенную им в министерстве дипломатическую ноту французского правительства и тем расположил к себе Шинаси.

Сблизившись с Шинаси, он под влиянием последнего начал знакомиться с образцами западной литературы. Это было нечто совершенно отличное от всего того, что представляла собой классическая восточная литература, в особенности османская, являвшаяся рабским подражанием наиболее застывшим и отсталым образцам литературы Ирана.

Со времени основания Оттоманской империи турецкая литература развивалась двумя путями.

С одной стороны, существовала народная поэзия, реалистическая по своим формам, образам и восприятию окружающей жизни. В наше время, когда республиканские учреждения и общественные деятели новой Турции предприняли систематическую работу по собиранию турецкого фольклора, мы можем дать себе отчет, какие поэтические богатства таят в себе бедные деревушки Анатолии и горные пастушеские племена. В каждом округе есть свои прелестные свадебные, любовные, пастушеские и иные бытовые песни, замечательные по яркости своих образов и звучности стиха. Многие из них сохранились с весьма отдаленных времен. Например, так называемые «ма'ни», являющиеся примитивной формой турецкой поэзии, безусловно сохранились еще от тех времен, когда турки жили в Средней Азии вместе с другими родственными тюркскими племенами, ибо эти формы встречаются и у этих последних.

Обычно это куплеты в четыре стишка, представляющие собой отрывочные, неясные лирические порывы. То же можно сказать и о так называемых «тюркю», само название которых говорит о их глубоком национальном происхождении и о противопоставлении их в народном сознании чуждым, заимствованным у персов, искусственным и напыщенным формам поэзии.

«Тюркю» являются обычно бытовыми или семейными песнями; в них воспевается любовь и красота предмета любви, причем дается большой простор выражению и развитию чувств; часто они изображают грусть от утраты или недосягаемости желаемого. Их внешния украшения, эпитеты и метафоры, заимствованы из окружающей природы, которую истинный житель деревни лучше знает и понимает, чем профессиональный городской поэт, рабски повторяющий избитые выражения классиков.

«Шаркы» (восточные песни) являются, главным образом, поэзией городской буржуазии. Они сочинены отдельными авторами, из которых многие сохранили свои имена для

потомства, как-то: Умер, Сейрам и другие. Эти песни часто поются певцами сазов, о которых мы говорили выше.

Кроме этих форм известны еще «дестаны», то-есть эпические былины, в которых прославляется удаль героев: знаменитых разбойников, феодалов, полководцев. Эта поэзия унаследована от эпохи раннего турецкого феодализма. Большой известностью пользуются еще «ашыки» (влюбленные) – длинные поэмы, сочиненные по образцу персидских или просто являющиеся их переложением.

Но наряду с этими формами литературы, имеющими широкое распространение, существовала еще литература для избранных, то-есть для небольшой кучки господствующих классов, для ученых схоластов, по большей части из духовенства, смакующих тонкости восточной мистики. Эта литература дошла до наших дней в рукописях, а впоследствии в перепечатках. Родоначальником ее является известный Джелалэддин-Руми, выходец из Ирана, крупнейший ученый своего времени и основатель знаменитого, существовавшего до 1924 года[47] ордена вертящихся дервишей (мевлеви).

Джелалэддин-Руми появился в Анатолии перед самым падением некогда блестящей империи турок-сельджуков, во второй половине XIII столетия. В их столице – пышной Конии – одном из видных центров тогдашней учености и искусства, он сблизился с вождем небольшого, но воинственного турецкого племени, пришедшего из далеких гор Алтая, – Османом. Это племя турок-османов было последним оплотом сельджукских султанов, неспособных защищаться от многочисленных, наступавших со всех сторон, врагов. Вскоре, с падением империи, Османы сделались ее наследниками, мало-по-малу победив и подчинив себе всех крупных феодалов Малой Азии.

Джелалэддин-Руми был смелым новатором, ибо он выступил против строгого пуританизма официального мусульманства, борясь за право на веселие, радость, искусство. Основанный им орден, который в то время был большой ересью, под маской религиозных обрядов вводил в обиход музыку, пение, пляски. Он как бы воскрешал старые языческие таинства, зародившиеся еще во тьме веков в этой солнечной плодородной стране. После Джелалэддина-Руми осталось значительное литературное наследство и, в первую очередь, знаменитое «месневи», то-есть поэма, рифмующаяся по полустишиям, состоявшая из 27 тыс. строф. Его «диваны», сборники лирических стихов, составляют около 90 тыс. строф.

С той поры османская литература дала сотни крупных поэтов, которые создали высокие образцы поэзии, прогрессивной для тех

эпох. Но по мере укрепления монархии Османов и усиления ее деспотизма, османская литература стала приходить в упадок. Помимо многочисленных поэтов анакреонтического направления, писавших для развлечения господствующих верхов, появилась особая придворная литература, главной целью которой являлось восхваление подвигов, достоинств и добродетелей султана и его приближенных. Далекая от жизни и от окружающей действительности, эта поэзия, нашедшая свое высшее выражение в период упадка империи, черпала весь свой запас образов, эпитетов, сравнений из классической восточной литературы. Мертвечина штампа наложила на нее свой унылый отпечаток.

Работа писателя заключалась в том, чтобы умело заимствовать украшения для своих од из уже готового арсенала уподоблений, количеством и выспренностью которых определялись достоинства произведений. Солнце, соловей, розы, лунный свет, рассвет, заря, молния, гром, вулкан и т. п. – вот что служило для сравнения восхваляемых качеств повелителя, его фаворитов или любовниц. Вышедшие из-под пера писателей такая ода или стихотворение напоминали по чьему-то меткому выражению «уродливую, разукрашенную блестками подвенечного платья старуху». Эпитеты отвешивались механически, как на аптекарских весах.

Другая отрасль придворной литературы, историография, шла по тому же пути.

Историограф Васыф, после кампании 1774 года, закончившейся для Турции несчастным Кючюк-Кайнарджийским миром, описывая возвращение султана в Стамбул, уподобляет дворец «перламутру, в котором затворяется драгоценный жемчуг августейшей персоны, и славному центру, откуда солнце султанского могущества распространяет лучи на всю вселенную». Челеби-заде, историк персидской камлании 1724 года, рисуя снятие осады Тавриза и поспешное отступление турок, пишет: «сейчас тюльпан победы вышел из-под земли, но нужно ждать до следующей весны раскрытия розового бутона желания». Историк царствования Ахмеда III Рашид, описывая смерть в бою 22 важных лиц, находит для каждого особое выражение: «отправился в лучший мир», «птица его души покинула свою клетку и полетела к небесам», «с него был снят кафтан бренной жизни» и т. п.

Пока османская литература отражала на себе иранские литературные течения, поэты ее на все лады перепевали обветшавшие образы; но если в иранской поэзии «роза» и «соловей» воплощали в себе лиризм души, – у османов содержание большей частью отступало на задний план перед формой, и поэт все свое внимание сосредоточивал на плавности и

звучности стиха. Постепенно рабское преклонение перед иранскими прототипами вытравило из османской поэзии всякую оригинальность: она застыла в мертвенной гладкости выражений.

Поэты всячески старались избегать в своих произведениях употребления турецких слов, которые считались простонародными и грубыми; самые турецкие грамматические формы они заменяли арабскими и иранскими. К моменту, когда Шинаси и Кемаль начали борьбу за реформы языка и литературы, свыше 70 проц. всех слов, употреблявшихся турецкими писателями, были арабскими и иранскими. Зато не только народ, находившийся в ужасном невежестве и нищете, но даже и большинство средних классов не были в состоянии понять эту литературу, ставшую достоянием лишь самой ограниченной господствующей верхушки.

В тот момент, когда буржуазия и чиновничья интеллигенция повели борьбу с феодализмом, вполне понятно, что важным участком этой борьбы было движение за реформу и упрощение языка, за его перестройку в расчете на то, чтобы он стал орудием нового, стремящегося к власти класса.

Вот почему вопросы языка или литературы приобрели такую остроту, и вокруг них сгруппировались наиболее передовые, прогрессивные элементы тогдашней Турции.

Знакомство с западной культурой внесло новые образы, и для выражения своих мыслей писателям приходилось уже отказываться от восточной вычурности и мистической туманности. Теория стилистики и эстетики, заимствованная у иранцев, рушится; уже не форма, а содержание выдвигается на первый план, и литература начинает служить идеалам борющихся с феодализмом классов.

Познакомившись с Кемалем, Шинаси сразу понял, какую большую силу для предпринятой им борьбы представляет этот не по летам серьезный юноша, своим талантом и обширными знаниями завоевавший уже себе имя и известность среди корифеев классической литературы. Благодаря Шинаси, Намык Кемаль быстро окунулся в мир новых идей. По настоянию Шинаси, он серьезно занялся французским языком и в сравнительно короткое время мог читать произведения французских романтиков в подлинниках. Через Шинаси Намык познакомился и с рядом европейцев, главным образом французов, живших в Стамбуле или наезжавших туда. Друзья посещали французскую кофейню «Флам» на площади Гаксим в европейской части города. За чашкой кофе или кружкой пива они ведут нескончаемые разговоры о поэзии, европейских литературных направлениях, о новых книгах, а также и о политике. Еще чаще

они собираются в небольшой редакции «Гасфири Эфкяр» – в двух шагах от дворца Высокой Порты.

Эти маленькие, тесные комнаты во втором этаже над довольно примитивной типографией скоро стали центром притяжения всего того прогрессивного, стремящегося к реформам, к обновлению, что было тогда в турецком обществе. Даже наиболее передовые люди из знати, из крупного чиновничества и офицерства частенько приходили сюда, как в центр, где зарождается новое будущее Турции.

От старого литературного течения, объединенного вокруг «поэтического комитета», к которому еще недавно примыкал Кемаль, откалываются элементы не слишком консервативно настроенные. Кое-кто из них примыкает к группе «молодых». Другие образовали свои собственные группы, как-то: «Османское общество просвещения», группировавшееся вокруг «Научного журнала» и состоящее из крупных чиновников и пашей. Хотя это общество и поддерживало контакт с «молодыми», но считалось в глазах правительства благонамеренным.

В своем уставе общество громогласно объявляло, что преследует только учено-просветительные цели и категорически исключает из программы вопросы политики и религии. Уже один этот факт успокоительно подействовал на правительство.

Общество устраивало публичные лекции при стамбульском университете, и в организации их большое участие принимал великий визирь Фуад-паша. Лекции охватывали различные области знания. Эдхем-паша и Дервиш-паша читали по разным вопросам естественных наук, Каратеодори-паша – по римской истории, Салих – по ботанике, а Хайрулла и Вефик-паша (впоследствии первый председатель османского парламента) – по истории Турции.

Молодые чиновники Высокой Порты образовали свое «Книжное общество» и начали издавать журнал «Меджмуаи Ибринтима». Вокруг всех этих группировок вертелись светские молодые люди, без каких-либо литературных талантов, но одержимые поэтическим зудом и мечтавшие о писательской славе. Этих последних Шинаси охарактеризовал метким словечком: «литературные мальчишки».

Сблизившись с Шинаси, Намык Кемаль страстно отдался работе в «Тасфири Эфкяр». Одновременно с борьбой за обновление языка и литературы, он ставит вопросы, касающиеся реформы быта, распространения просвещения, восприятия западной культуры.

В одной из своих статей он пишет: «у нас не существует ни одной книги, которая могла бы нравиться, если у нее отнять

словесные украшения. Народ не способен понимать теперешний литературный язык. Ни одно произведение не написано естественно; обилие лицемерных преувеличений лишь способствует развращению нравов; смысл постоянно приносится в жертву формам. Мало того, не существует даже установившихся литературных приемов и правил. Между разговорным и литературным языком лежит столь глубокая пропасть, что иногда кажется, что это два разных, чуждых друг другу наречия. Таким образом наша литература не сослужила никакой службы нашей связи с народом». Позже, в предисловии к переводу с иранского «Весна знания», он еще раз произносит приговор над старой литературой и заявляет, что книги должны писаться не для избранных, а для всего народа.

«Тасфири Эфкяр» стала трибуной ожесточенной критики старой литературы. Все усилия Шинаси и Намык Кемаля были направлены против дальнейшего господства этой литературы «диванов» и хвалебных од. Надо было внедрить идею никчемности и невежественности этой литературы, доказать, что она носительница лжи и разложения.

Надо было дать образцы простого, общедоступного, общепонятного языка. Заслуга Шинаси и Намык Кемаля в этой области огромна. До них «высокий стиль» являлся непременным элементом всякой письменности. Человек, взявший перо в руки, немедленно переставал говорить обычным житейским языком, который он употреблял за минуту до этого. Если сын писал отцу, он не мог начать иначе, как «мой высокочтимый отец, эфенди»; в свою очередь, отец, обращаясь к сыну, писал: «свет очей моих, мой сын, эфенди». И когда Намык Кемаль в своих письмах к отцу ввел простое обращение: «батюшка», эта вольность сама по себе казалась по тому времени настоящей крамолой.

Целый ряд выражений и понятий, неизвестных до тех пор в турецком языке, как-то: отечество, свобода, нация, сознание, патриотизм, революция, мятеж, политика, энтузиазм – были введены в обиход Кемалем, непрерывно употреблявшим их в своих статьях.

Уже в самом начале работы в «Тасфири Эфкяр» обнаружился блестящий публицистический талант Кемаля. Его статьи полны полемического задора. Смотря по обстоятельствам, он то мягко поучает в своих статьях, то нападает на своих противников «с беспощадной стремительностью снаряда», по выражению одного из историков турецкой литературы.

Иногда он гибкий спорщик, иногда яростный, гневный критик. Его статьи будоражат молодежь и беспощадны к ретроградам. Недаром, уже вскоре после начала его журнальной

деятельности, молодежь не звала его иначе, как «Федаи-Кемаль» – «подвижник Кемаль».

Мало-по-малу борьба, начатая за общедоступность языка, за приближение литературы к жизни, переросла в политическую борьбу, в которой Кемаль принял самое активное участие.

Общество новых османцев

Если народ унижен, не верь, будто он лишен достоинства:
Изумруд, упавший на землю, хранит драгоценные свойства,
Подлы лишь те, кто поддерживает тиранов,
Собака тот, кто счастлив служить жестокому хозяину.

НАМЫК КЕМАЛЬ

Если севастопольская победа, ослабление векового врага – России, являвшейся всего несколько лет тому назад угрозой самому существованию Оттоманской империи, дали передышку турецкому самодержавию, то эта передышка была куплена дорогой ценой. Уже не говоря о тяжелых жертвах войны, десятках тысяч турецкой молодежи, легших под укреплениями Севастополя, Турция в уплату за спасение должна была широко открыть дверь европейскому капиталу.

Отныне европейский капитал, с помощью правительства Абдул-Азиса, принялся за превращение Оттоманской империи в свою колонию. Предоставив европейским финансистам и другим пенкоснимателям хозяйничание в наиболее важных отраслях турецкой экономики, султан спокойно продолжал тратить все доходы государства и получаемые от новых «друзей» займы на свои удовольствия и содержание безсчисленных придворных паразитов.

Золото льется рекой. Вдоль Босфора возникают сказочные мраморные дворцы: Долма-Бахче, Чераган и др., в которых переплетаются восточная и европейская роскошь. Пышные придворные празднества как-будто стараются затмить век Людовика XIV. Попрежнему страна остается без дорог, без школ, больниц, культурных учреждений. То строительство, которое ведут европейцы, лишь вредно для национальных интересов Турции, ибо оно является обычным типом колониального хищничества. Проведенные ими железные дороги, построенные порты, основанные банки – все это рассчитано на более прочное закабаление Турции, на превращение ее в колониальный рынок.

До сих пор казалось, что феодальная эксплоатация полностью выжала все соки из страны; оказалось, что колониальная сверхэксплоатация способна выкачать все то последнее, что

оставалось у разоренного народа. Понятно, что это повело к новому сильному недовольству во всех слоях турецкого общества. В стране нарастало серьезное брожение. Усилились крестьянские восстания, и не только в христианских областях. Еще в начале крымской кампании на малоазиатском берегу, против острова Родоса, восстало племя зеебеков. Ряд городов был взят ими и разграблен. Айдинский губернатор бежал в г. Тир. Крупный кустарный центр Денизли оказался в руках восставших. Глава духовенства провинции, муфтий Сагиб-эфенди, был обезглавлен вместе с некоторыми другими духовными и нотаблями.[48] Вспыхнули и другие восстания в Анатолии.

Реформы Танзимата не ликвидированы, но им дана совершенно иная ориентация. Со смертью Решид-паши его преемники – столпы турецкой бюрократии – Али-паша и Фуад-паша во всей своей политике отражают интересы полуфеодального земледелия и духовенства. Если они и выступают сторонниками проведения ряда реформ, дающих некоторые права буржуазии (преобразование провинциальной администрации), пересматривающих феодальное законодательство и пополняющих его сообразно «духу времени», то все это делается ими постольку, поскольку в основном господство сохранялось в руках феодально-клерикальных слоев.

Политику султана и всемогущих временщиков Али и Фуада критиковали почти открыто, несмотря на усиливающиеся репрессии и всюду рыскавших шпионов. В этих условиях создалось первое тайное турецкое общество, несколько напоминавшее общество декабристов. Целью этого «Общества новых османцев»[49] было ограничение самодержавия, введение конституционного правления и борьба против иностранного засилия.

Мысль о его создании зародилась в той самой маленькой редакции «Тасфири Эфкяр», о которой мы говорили выше. В ней же шла и подготовка к его организации. Шинаси и его товарищи, побывавшие в Европе, знакомили своих единомышленников с формами революционной борьбы на Западе. Движение итальянских карбонариев, революционные события во Франции и Германии, польское восстание 1861 г. изобиловали прототипами для создания «Общества». Известную роль в его появлении сыграли и многочисленные, бежавшие в Турцию венгерские эмигранты, участники событий 1848–1849 годов, которых, несмотря на все угрозы Николая I, турецкое правительство отказывалось выдать или хотя бы изгнать.

К 1865 году мысль о создании общества настолько созрела, что осталось лишь оформить его организацию.

В один из воскресных июньских дней, под предлогом прогулки, будущие члены Общества собрались в Белградском лесу.

Этот лес – прелестное место в складках зеленых холмов на европейском берегу Босфора, недалеко от Черного моря. Вековые платаны необъятной толщины окружают прозрачные пруды и озера, от которых еще в древности питались водой через монументальные, сохранившиеся до сего времени акведуки, бесконечные цистерны и водоемы Византии.

В праздничные дни бесчисленые каики подымаются вверх по Босфору и высаживают гуляющих у «Известкового мыса», где, по преданию, под кущей сохранившихся и по сей день вековых чинар сидел со своими крестоносцами Готфрид Бульонский. Отсюда широкая тенистая дорога ведет вдоль ущелий к Белградскому лесу. Он настолько велик, имеет такое количество укромных уголков, что собрание нескольких десятков молодых людей могло пройти никем не замеченным.

Среди присутствовавших на этом первом собрании были Шинаси и Кемаль, их ближайший соратник по «Тасфири Эфкяр» – Эбуззиа-Тефик, молодой, но уже видный литератор и чиновник – Зия-бей и много других молодых людей, среди которых можно было насчитать нескольких родичей влиятельнейших лиц столицы.

Основателем Общества был Нури-бей – родственник будущего кровавого султана Абдул-Хамида. Но тогда еще сам Абдул-Хамид, не бывший еще наследником, всячески афишировал свои либеральные взгляды, чтобы проложить себе путь к трону, конкурируя в этом со своим старшим братом – наследником Мурадом.

Душой Общества был Мехмед-бей – племянник виднейшего придворного Махмуд Недим-бея, впоследствии великого визиря. Это был в высшей степени экзальтированный юноша, выросший в Париже. Впоследствии он, вместе с Нури и еще одним из членов Общества, Решадом, во время осады Парижа в 1870 году находился в рядах национальной гвардии. Однажды он нелегально вернулся в Стамбул и расхаживал там в европейской шляпе, невзирая на то, что рисковал жизнью, так как все главари Общества заочно были осуждены на смерть.

Все члены Общества были знакомы с книгами о движении карбонариев, которые популяризировал среди них один из членов Общества, Айетуллах-бей. После долгого обсуждения было решено принять устав, с небольшими изменениями воспроизводящий устав карбонариев. Выработка устава была поручена Айетуллаху.

Число членов уже в ближайшее время достигло 245 человек. Все общество было разделено на «семерки», члены которых подчинялись председателю («рейс»). «Рейс» входил в соприкосновение с девятью «рейсами» других групп, но они не знали лиц, входивших в состав посторонних групп, кроме непосредственно им подчиненных. Так быстро создалась организация из нескольких десятков кружков. Общепризнанным оратором, выступавшим на собраниях, был Зия-бей, которого называли «османский Мирабо». Общее начальство было вверено Омер-паше. Это был венгерский эмигрант, вынужденный в 1849 году покинуть родину. Приняв магометанство, он быстро выдвинулся на высокие военные должности. Кроме него, из видных военных и чиновников в организации принимали участие: товарищ министра жандармерии Асым-паша и начальник военной школы Харбие – Сулейман-паша. Программа Общества была весьма скромной и сводилась к требованию конституционной монархии. Но по тому времени для страны, отставшей на два столетия, для страны, где царил самый ужасный деспотизм и произвол, это было уже значительным шагом вперед.

Младотурки, как об этом свидетельствуют их высказывания и практическая деятельность, отражали интересы торгового капитала и находящейся на грани окончательного разорения небольшой турецкой промышленности. Это были глашатаи буржуазной Турции, хотя и довольно робкие и половинчатые.

«Ты помнишь, – писал Маркс Энгельсу, – я тебе недавно указывал, когда мы говорили о Турции, на возможность создания пуританской партии, опирающейся на коран; теперь это осуществилось».[50]

Маркс дал меткую характеристику младотурецкого движения к моменту его выхода на политическую арену. Действительно, в это время почти все деятели Общества чрезвычайно считались с религиозными настроениями масс и всячески старались доказать, что проповедуемые ими идеи совпадают с доктринами ислама.

Идеологи движения утверждали, что все нововведения, все конституционные свободы являются лишь осуществлением догматов первоначального, не извращенного магометанского учения. Цитируя, например, текст корана: «о правоверные, не входите в чужой дом, не испросив разрешения и не сказав приветствие живущим в нем»,[51] истолковывали, что это и есть та неприкосновенность частного жилища для властей, которой добивалась когда-то буржуазия Европы и за которую борется сейчас передовая Турция.

Черпая свои силы лишь из тонкой прослойки либерального чиновничества, не помышляя об обращении к массам, от которых

их отделяла глубокая пропасть, младотурки возлагали свои надежды на персональные перемены в династии, для достижения чего они и готовились к соответствующему перевороту. Вот почему они поспешили сблизиться с тогдашним наследником престола Мурадом.

«Либерализм» Мурада, в который твердо верили младотурки, имел весьма простое объяснение. Содержащийся, как настоящий пленник, в пышном дворце дяди, окруженный на все готовыми евнухами, старающимися по выражению лица падишаха угадать, не наступило ли время оказать ему «услугу», которая не забывается, наследник имел полное основание трепетать за свою жизнь.

Мурад был готов на все, лишь бы найти какую-либо опору и защиту. Через своих французских учителей он еще ранее примкнул к франкмасонам и возлагал на них большие надежды. Благодаря масонству он сблизился и с младотурками, многие из которых были членами лож. С другой стороны, масонство наследника, постоянно высказываемые им либеральные взгляды породили среди умеренных вождей Общества иллюзии, что с восшествием на престол Мурада наступит, наконец, столь желаемое для них конституционное правление.

С Мурадом у Общества был установлен контакт, осуществлявшийся через Намык Кемаля. Для этого, благодаря высокому положению некоторых членов Общества, Намык Кемаль был назначен воспитателем сына наследника, Селахэддина. Это давало ему возможность ежедневно посещать Мурада, не навлекая подозрения султанских сыщиков, установивших самый строгий надзор за наследником.

Постоянный контакт Намык Кемаля с наследником порождал странное положение. Молодой, неопытный Кемаль, которому тогда было едва двадцать шесть лет, наивно верил, что благодаря своему влиянию он сможет воспитать и укрепить в наследнике конституционный образ мыслей. Со своей стороны Мурад с радостью убеждался, что его либеральная игра вербует ему сторонников в Обществе и создает для него реальные шансы на престол. Несмотря на официальный титул наследника, его будущее рисовалось весьма мрачным. У Абдул-Азиса были свои дети. Правда, уже с начала XVII столетия, в роде Османов твердо установился порядок престолонаследия, в силу которого умершему султану наследовал не сын, а старший в роде. Но Абдул-Азис вел деятельную подготовку к изменению этого порядка. Только-что имевший место прецедент с подобным же изменением порядка наследования в Египте был ему весьма на руку. В крайнем случае удобно подстроенный «случай», вроде тех,

которыми пестрела хроника династии Османов, мог все великолепно устроить. И Мурад и его младший брат Абдул-Хамид прекрасно понимали, что их жизнь висит на волоске. Вот почему Общество новых османцев являлось для Мурада чудесно протянутой рукой помощи.

Но как ни молод был Кемаль, как ни чужды были для тогдашних турок из привилегированных классов республиканские идеи, все же непосредственное соприкосновение с будущим «конституционным» падишахом начало мало-по-малу открывать ему глаза. Вскоре он с горечью должен был убедиться в лживости «либерального» наследника. В конце концов, все почтение перед «священным отпрыском Османов» не удержало его от того, чтобы высказать ему правду в лицо.

Как-то в разговоре с Кемалем, Мурад, ради поддержания репутации западника, стал щеголять французскими выражениями, смысл которых он сам не понимал.

– Эфенди, – спросил Кемаль, – знаете ли вы, что означают слова, которые вы только-что произнесли?

Мурад смутился и стал бормотать что-то невнятное. Тогда Кемаль, с упреком и тоном наставника, сказал ему:

– Все надежды патриотов обращены к вам; вся нация видит в вас залог счастливого будущего. Если вы, еще будучи наследником, стараетесь позировать передо мной, самым близким вам человеком, и питаете намерение обмануть меня, готового в любую минуту пожертвовать для вас жизнью, что вы сделаете с народом, когда станете падишахом? Если будет продолжаться эта ваша игра, дать вам престол было бы изменой народу.

Мурад промолчал. Он не смел ссориться с теми, в ком видел единственную надежду на спасение. Но чем дальше, тем яснее становилась для Намык Кемаля вся тщетность возлагаемых Обществом надежд на персональные перемены в династии.

Шинаси не долго оставался с друзьями. В 1865 году его ближайший товарищ – албанец Саид Сермеди, тот самый, с которым в революционные дни 1848 года они вместе карабкались на купол Пантеона, чтобы водрузить там республиканский флаг, был арестован по обвинению в подготовке покушения на жизнь великого визиря Али-паши. Улики против него были слабые, и он отделался, после нескольких месяцев тюрьмы, ссылкой в крепость Акку на сирийском побережье. Но Шинаси, помня свое участие в Обществе новых османцев и ненависть к себе великого визиря, решил бежать. С помощью издателя французской газеты «Courrier d'Orient» – Пьетри, с которым он познакомился через Сермеди и который не раз оказывал ему значительные услуги, печатая его

статьи, не могущие быть опубликованными в «Тасфири Эфкяр», Шинаси удалось сесть тайком на французский пароход и бежать во Францию. «Тасфири Эфкяр» он передал Намык Кемалю. Он был так напуган, что не посвятил даже своего друга Кемаля в план бегства; он сообщил лишь ему, что уезжает лечиться на воды в Бруссу, и просил временно взять на себя заведывание редакцией.

Этот случай не смутил членов Общества. Наиболее революционно настроенные и пылкие из них настаивали на немедленном выступлении. Был создан детально разработанный план заговора. Выступление было назначено на 15-е число первого лунного месяца Мухаррема 1283 года (1866 г.). В этот день, согласно обычаю, заведенному с 1840 года после опубликования хатишерифа Гюль-Хане, султан приезжал в Высокую Порту и выслушивал от великого визиря отчет о событиях прошлого года, а также давал краткие инструкции на наступающий год. План заговорщиков заключался в том, чтобы среди этой торжественной обстановки вынудить у султана согласие на конституцию. Успех заговора казался тем более несомненным, что войсками, назначенными для охраны султана, должен был командовать Омер-паша – член Общества.

Для обсуждения деталей заговорщики за три дня до этого собрались в окрестностях Стамбула, в дачной местности Макри-Кей. Возбужденные, уверенные в несомненном успехе предприятия, они весело возвращались в город, не подозревая, что среди них находится предатель,[52] донесший великому визирю Али-паше о заговоре.

«В назначенный день, – рассказывает один из участников, Эбуззиа Тефик, – согласно уговору, члены Общества собрались около мечети Айя-София, ожидая, что вот-вот заиграет музыка, возвещающая о приближении султана. Прошло однако урочное время, и к ужасу своему заговорщики узнали, что Омер-паша и несколько других членов Общества арестованы. Они спустились от Айя-София к берегу Золотого Рога и здесь встретили министра финансов Рюштю-пашу, также участника заговора, который, сидя в карете, дал им знак, что все открыто».

В городе начались аресты. Сорок арестованных было посажено на пароход, долго после этого стоявший в Золотом Роге. Но к счастью предатель был сравнительно далек от верхушки движения и не знал многих участников; арестованные же, несмотря на все старания властей, никого не выдали. Однако, положение Намык Кемаля и Зия-бея как виднейших фигур движения было в высшей степени опасное. Их близость с наследником делала их особенно подозрительными в глазах

Абдула-Азиса.

С другой стороны, султанские шпионы все дальше и дальше разматывали клубок заговора. Аресты шли за арестами. То колоссальное влияние, которым пользовались среди передовых людей того времени и молодежи Зия и Кемаль, заставляло задумываться над их арестом в самой столице. Чтобы удалить их отсюда, правительство придумало хитрый план. Зия-бей был назначен начальником округа на Кипр, а Кемаль – вице-губернатором в Эрзерум. Оба прекрасно понимали, что стоит им только уехать в эти отдаленные провинции, как жестокая расправа с ними будет неминуема. Они предпочли бежать за границу.

В эмиграции

Ради счастья народа пусть покоя мы не знаем,
Родины спеша на призыв, на чужбину уезжаем.

НАМЫК КЕМАЛЬ

Зия и Кемаль бежали не только в целях личного спасения. Мысль о поездке за границу тесно переплеталась в их сознании с планами создания за границей центра борьбы против правительства, откуда можно было бы сплачивать разбитые реакцией и разрозненные силы, вести пропаганду и подготовлять новых борцов. Но для этого нужны были средства, которых не было ни у того, ни у другого. Вот почему они колебались до последней минуты, когда неожиданно помощь пришла в лице Мустафа Фазыл-паши, одного из крупнейших сановников империи.

Мустафа Фазыл-паша был колоритнейшей фигурой того времени. Потомок египетского хедива[53] Магомета-Али, того самого, чье восстание в царствование Махмуда II чуть не кончилось гибелью для Оттоманской империи, владелец колоссальных феодальных поместий и вместе с тем крупнейший промышленник Египта, так как ему принадлежал там ряд недавно построенных сахарных заводов, он представлял собой типичного фрондирующего вельможу. Состоя в 1865 году председателем Высшего финансового совета, он имел сильные трения с Али и Фуадом, в результате чего вынужден был уйти в отставку. Ущемленный в своем самолюбии, он уехал за границу, откуда решил предпринять борьбу с правительством Высокой Порты.

К этому времени, вследствие изменения порядка престолонаследия в Египте, он лишился права на хедиват, за что получил крупнейшую денежную компенсацию – 4 млн. английских фунтов.

Поселившись в Париже, он опубликовал во французской прессе ряд писем к султану Абдул-Азису, обвиняя последнего в том, что он ведет Турцию к гибели.

Эти письма заинтересовали членов Общества новых османцев. Кемаль и некто Садуллах перевели их на турецкий язык, тайно отпечатали с помощью Жана Пьетри в типографии «Courrier d'Orient» на Пера́, и начали нелегально распространять среди чиновников, офицеров и молодежи.

Со своей стороны Мустафа Фазыл-паша также начал искать сближения с младотурками.

Узнав о намерении правительства удалить Зия-бея и Намык Кемаля из столицы, он поспешил завязать с ними сношения и предложил им выехать за границу.

Сообщение о назначении Зии на Кипр, а Намыка в Эрзерум появилось в официальной газете 11 марта 1867 года, а 19 дней спустя оба они получили записки с приглашением явиться в редакцию «Courrier d'Orient».

Это приглашение было подписано итальянцем Сакакини – директором египетского сахарного завода Мустафа Фазыл-паши.

Когда Зия прибыл в редакцию, он нашел там Сакакини и Жана Пьетри. Они разговорились, но о цели приглашения не было сказано ни слова. Ждали Намык Кемаля. Наконец появился и он. До этого времени он и Зия знали друг друга очень мало, главным образом по наслышке, да изредка встречаясь на некоторых собраниях Общества. Дружба, связавшая их затем на долгие годы, началась здесь, в редакции французской газеты, в результате приглашения египетского паши, обращенного к ним обоим.

Сакакини прочел письмо. Паша писал:

> «Мы все знаем о той катастрофе, к которой идет наша страна. События возлагают на нас священную обязанность принять меры к спасению находящейся в опасности родины, пока это еще не поздно, а также позаботиться о ее будущем.
>
> Вы оба являетесь интеллигентными, образованными людьми и вместе с тем получившими известность писателями. Ваш патриотизм, преданность интересам родины, таланты и энергия не вызывают сомнения даже в тех разрушителях отечества, которые хотят удалить, изгнать вас.
>
> Пришло время, когда вы можете сослужить истинную службу делу спасения, счастья и свободы отечества. Чтобы объединить вас на поприще этого служения, я приглашаю вас в Париж. У меня есть средства для того, чтобы с помощью ваших талантов и патриотизма достичь желаемой цели, и я вполне искренне предоставляю эти средства в ваше распоряжение.
>
> Мустафа Фазыл».

Риджаизаде Экрем.

Кемаль и Зия согласились без колебания. Было решено, что с ними вместе поедут еще Агях-эфенди, бывший редактор «Толкователя событий», и редактор «Мухбира» («Корреспондент») – Али-Суави, газета которого была недавно закрыта правительством за статьи об отдаче крепости Белград сербам, что правительство тщательно скрывало от населения. Жан Пьетри взялся оповестить Суави и немедленно послал к нему Калаваси-эфенди, главного редактора «Courrier d'Orient». Кемаль и Зия занялись подготовлениями к отъезду.

В эту эпоху в Обществе новых османцев появился человек, который своей энергией, умом и незаурядными организаторскими способностями выдвигался на роль общепризнанного вождя движения. Это был недавно отозванный в Стамбул со своего поста вали[54] дунайских провинций, Мидхат-паша. У Зии в последнее время завязались тесные отношения с Мидхатом, и он не хотел уехать, не повидавшись с ним и не договорившись о том, как поддерживать их связь из-за границы.

Через несколько дней после того, как Зия и Кемаль решили эмигрировать, они ночью посетили Мидхат-пашу в его доме неподалеку от старого дворца. Мидхат был уже тогда на подозрении, и правительство, намереваясь произвести радикальную ликвидацию оппозиции, решило удалить его из столицы так же, как и других. Только-что перед приходом Зии и Кемаля его вызывали во дворец и, под предлогом вновь начавшихся в Дунайской области волнений, предложили ему вернуться на старый пост. Узнав об этой новости, Зия горько усмехнулся:

– Нет сомнения, что в этом деле замешана рука Али-паши. Я

слишком долго был секретарем дворцовой канцелярии, чтобы не знать всех их хитростей и интриг.

В эту ночь они договорились о дальнейшей работе Общества, сообщили Мидхат-паше о своем намерении бежать и условились, что Эбуззия-Тефик будет брать их письма во французском консульстве и передавать жене Мидхата – Найме-ханым. Распрощались.

До окончания приготовлений к побегу было решено притворяться, что они подчинились решению правительства. Они оформляли получение подъемных денег и настолько ввели в заблуждение правительство, что Али-паша на радостях предложил Кемалю персональное, довольно крупное пособие. Но Кемаль отказался от него и тут же решил поскорей покинуть Стамбул. Побег был назначен на 17 мая. Издание «Тасфири Эфкяра» Намык оставил своим приятелям и единомышленникам, начинавшим выдвигаться литераторам – Эбуззия-Тефику и Риджаизаде Экрему.[55]

Мустафа Фазыл-паша был подробно осведомлен о материальном положении Зии и Кемаля. Зия имел кое-какие средства, но содержал большую семью. Что касается Кемаля, то он сам с женой и дочерью жил на средства отца. Мустафа Фазыл прислал Кемалю 10 000 франков, а Зие лично 1 5 ООО и 20 000 франков для семьи, которая оставалась в Стамбуле.

16 мая перед вечерним эзаном, как было заранее выработано по плану, Зия сидел на террасе ресторана «Волори» на Большой улице Пера. Когда он увидел подходящего Кемаля, он встал и, перейдя через улицу, начал спускаться по переулку к французскому посольству. На некотором расстоянии за ним следовал Кемаль. Стараясь оставаться незамеченными, они вошли один за другим в здание французского посольства.

Учитывая нарастающее брожение против реакционного правительства, могущее закончиться переворотом и приходом к власти либеральных элементов, французская дипломатия благоразумно перестраховывала свое влияние на турецкую политику, оказывая ряд значительных услуг представителям конституционных групп и поддерживая контакт с последними.

Французским послом в Стамбуле был тогда Буре. Беглецы были ему рекомендованы Мустафа Фазыл-пашой и Жаном Пьетри. Он принял их в приемной посольства. В беседе с послом они провели часть ночи, а в половине третьего утра, переодевшись в европейское платье, в сопровождении служащих посольства поехали на французский пароход «Босфор».

17 мая рано утром пароход выходил в Мраморное море, огибая Дворцовый мыс. Яркое солнце вставало над

анатолийскими прибрежными горами. Легкая дымка вилась над ливанскими кедрами, венчающими вершины Принцевых островов; ослепительно сверкало тысячами блесток утреннее море. Вдали белели паруса рыбачьих лодок. Направо разворачивалась неповторяемая панорама Стамбула: старые стены Византии, тонущий в буйной весенней зелени Топ-Капу, стройные минареты и широкие массивные куполы мечетей. У беглецов сжалось сердце. Вытирая влажные глаза, Зия следил за полетом чаек, вившихся вокруг парохода, и невольно у него вырвались стихи:

> Кто сроднился с страной, не покинет ее без причины,
> Без нужды, добровольно не ищут чужбины…

Абдул-Хамид Зия – один из виднейших писателей и деятелей Танзимата – родился в 1825 году. Отец его, Фердюддин-эфенди, служил секретарем Галатской таможни. Семья жила в маленьком живописном местечке на азиатском берегу Босфора – Кандилли. В старое время в более или менее зажиточных турецких домах был обычай поручать надзор за детьми старому слуге – «лала» (дядька), тип которого очень напоминает Савельича из «Капитанской дочки». «Лала» Зии, Исмаил-ага, был пятидесятилетний отставной солдат, видавший виды, исходивший в походах из конца в конец всю громадную Оттоманскую империю, бившийся за нее на самых далеких и глухих ее окраинах. Его простые и вместе с тем захватывающие рассказы о виденном и пережитом расширяли умственный горизонт ребенка. Под влиянием «лалы» у Зие создался интерес к жизни простого народа и первые поэтические наклонности. Не умея ни читать, ни писать, старик знал много стихов, да и сам сочинял их, чем приводил в восхищение ребенка.

Скоро Зия стал сам писать стихи и приносил их читать старику, который помогал мальчику преодолевать разные трудности стихосложения. Скопив небольшую сумму из даваемых отцом карманных денег, Зия со своим дядькой шел на базар и покупал там различные популярные лубочные стихотворные сборники вроде «Ашик Керима», «Ашик Гариба», «Ашик Омера» и других. Скоро он уже сам стал исправлять нехитрую поэзию своего лала. Но влияние старика продолжало действовать на него благотворно.

Кончив в Кандилли первоначальную школу, Зия учился в «рюштие» в Стамбуле. Однажды отец его, бывший очень темным человеком и притом религиозным фанатиком, воспитанным в ненависти к шиитам,[56] узнав, что в школе дают уроки иранского языка, заявил сыну:

– Смотри, не ходи на эти уроки. Кто знает по-ирански, тот теряет половину веры.

Зия не смел ослушаться отца, но иранский язык привлекал его, так как все те сочинения об «ашиках», которыми он увлекался, были иранского происхождения. О своем огорчении он поведал дядьке.

– Не обращай внимания на отца, – сказал лала, – он говорит тебе это потому, что сам не знает иранского языка. Когда отец увидит, что ты хорошо учишься и не отстаешь от товарищей, он сам первый будет доволен. Если бы я мог, я бы сам учился по-ирански.

Сомнения мальчика рассеялись. Он с жаром принялся за язык, впоследствии так пригодившийся ему.

Окончив «рюштие», Зия поступил в министерскую канцелярию. В то время это считалось как бы продолжением образования. Здесь он познакомился со сверстниками и со старшими товарищами, увлекавшимися поэзией и писавшими стихи. Скоро его произведения обратили на себя внимание, расходились среди товарищей, читались высшими чиновниками министерства. Еще в ранней молодости он издал несколько сборников, содержавших все виды «классической» поэзии. Способности юноши, его поэтический дар обратили на себя внимание великого визиря Мустафы Решид-паши, и вскоре молодой Зия был принят секретарем в Дворцовую канцелярию (1855 год).

Зия-паша.

До этого Зия, как и вся молодежь того времени, увлекавшаяся

поэзией, вел жизнь богемы: проводил ночи в кофейнях, слушая сазы, в пивных за выпивками и чтением стихов. С момента назначения в Дворцовую канцелярию он сразу остепенился и бросил пить. Стал усиленно заниматься французским языком и уже через несколько месяцев хорошо им овладел. Перед молодым человеком, вышедшим из бедной семьи, открывалась блестящая карьера.

Преклоняясь перед своим покровителем Решид-пашой, Зия пишет ему хвалебные оды в классическом стиле. Пишет он их и султану Абдул-Меджиду, шейх-уль-исламу Ариф-Хикмету и ряду других власть имущих. К несчастью для Зии, в конце 1858 года умер Решид-паша. Его преемники, Али и Фуад, ненавидели тех либеральных выходцев из средних классов, которых так заботливо выращивал Решид. Расположение к Зие султана Абдул-Меджида мешало им избавиться от него сразу. Но они всячески старались затирать Зию, выжидая удобного момента, чтобы окончательно отделаться от него. Со смертью Абдул-Меджида этот момент наступил. Новый падишах Абдул-Азис, еще перед вступлением на престол связавший себя с реакционной партией и даже участвовавший в ее заговоре, целью которого было свержение Абдул-Меджида, был всецело в руках Али и Фуада. Их первым делом было удалить подальше от султана креатуру ненавистного им либерального Решид-паши. Искушенный в интригах Али-паша, стараясь избегать всякого шума, сделал это, назначив Зия сначала на высокую должность в министерство полиции, а затем посланником в Афинах. От этого последнего назначения Зие, впрочем, удалось уклониться.

Али-паша.

Борьба между Зией и правительством продолжалась несколько лет. Зия ловко использовал слабое место ничтожного, ограниченного Абдул-Азиса, обожавшего грубую лесть. По всякому поводу он посылал ему ловко срифмованные хвалебные оды, в которых превозносил венценосного кретина до небес. Приходивший в восторг Абдул-Азис возвращал его из отдаленных провинций, куда незадолго перед тем засылал его Али, и предоставлял ему новую должность. Таким образом, за 3–4 года Зия побывал на различных ответственных чиновничьих постах: на Кипре, в Амассии, в Боснии, в Самсуне. Несмотря на все старания, деятельность его подвергалась со стороны Али-паши самой суровой критике перед султаном. Когда этот последний назначил его членом «Высшего совета» и товарищем министра иностранных дел, что меньше всего могло прийтись по вкусу Али-паше, ибо этот пост давал Зие возможность вмешиваться в дела министерства иностранных дел, во главе которого тогда стоял Али-паша, между ними произошло решительное столкновение, закончившееся отставкой Зии. Великолепным поводом для этой отставки, против которой не осмелился возразить султан, явилась жалоба французского посла.

После Крымской войны французское влияние в Турции достигло своего апогея. Али и Фуад были покорными слугами правительства второй империи.

Несмотря на весь свой карьеризм, Зия был по своему честным человеком, националистом, искренне любящим свою родину, искренне ужасающимся тому превращению Турции в европейскую колонию, которое происходило у него на глазах. Однажды он вмешался в распоряжение Али-паши, которым, в противоречие существующим договорам, удовлетворялось одно наглое требование французского посольства. Он не только не выполнил распоряжения министра, но резко ответил приехавшему к нему французскому драгоману:

– Идите и скажите послу: то, что туркам не позволено делать в Париже, французы также не будут делать в Турции.

Через несколько дней после этого Али мог свободно вздохнуть: Зии уже больше не было в министерстве.

Таким образом, Зия-паша вышел побежденным из своей борьбы со временщиками. Вся полнота власти сосредоточивалась в их руках. В силе покровительства султана, как и в самой личности Абдул-Азиса, он начал разочаровываться. Политика Али и Фуада стремительно вела страну к гибели. Зия считал, что для ее спасения необходимо было ввести конституционный строй и в первую очередь добиться удаления реакционных правителей, и он примкнул к Обществу новых османцев. Когда же вслед за

разгромом Общества перед ним встала перспектива опасной ссылки на Кипр, ему не оставалось ничего больше, как бежать вместе с Намык Кемалем в Европу.

О своем отъезде Намык Кемаль не предупредил ни отца, ни семью. Они узнали о его бегстве только через два дня, когда слух об этом распространился по всему Стамбулу. Все терялись в догадках, куда и зачем бежали два литератора, имена которых были наиболее популярными среди турецкого общества, и каждый объяснял их отъезд по-своему. В правительстве эта история вызвала большое смятение. Немедленно был арестован ряд членов Общества новых османцев: Кетхю-заде, Азми-бей, Шакир-эфенди, чиновник военного министерства Тахсин-эфенди, профессора медрессе: Ходжа-Велюйюддин, Сулейман, Мехмед и Джерах-пашалы Салих. Узнав об этом, Эбуззия-Тефик, Нури, Мехмед и Решад укрылись в редакции «Courrier d'Orient», куда полиция в силу капитуляций, боясь протестов французского посольства, не решалась проникнуть. Несколько дней спустя, с помощью французского посольства, во Францию бежала новая группа эмигрантов: Али-Суави, Агях, Нури, Решад и Мехмед.

Первой мыслью Кемаля по приезде в Париж было повидать своего старого друга и учителя Шинаси. Но Шинаси к этому времени стал совершенно иным человеком. Пережитые им во время ареста Саид-Сермеди и поспешного бегства из Турции волнения наложили на него тяжелый отпечаток. Он совершенно отстранился от всякой политики и весь ушел в реформу языка и литературы. Теперь это был узкий фанатик культуртрегерства, почти маньяк. В Париже, еще во время своего первого пребывания, он свел знакомство со знаменитым Литтре,[57] предпринявшим грандиозную работу издания энциклопедического словаря французского языка. Шинаси увлекся идеей создать такой же словарь турецкого языка. Отдавшись всецело этому делу, он не хотел больше ни о чем думать. Зная, что Кемаль и Зия прибыли в Париж, чтобы вести отсюда политическую работу, он встретил их крайне холодно и дал понять им, что дальнейшие встречи для него не желательны. О том, чтобы привлечь Шинаси к делу издания эмигрантских газет, не могло быть и речи.

Фуад-паша.

Али-Суави, человек энергичный, но с сильными авантюристическими наклонностями, решил возобновить в Париже свою газету «Мухбир». Он стремился привлечь к этому делу Кемаля и в особенности Зию, который уже раньше сотрудничал в «Мухбире», но те имели уже возможность поближе познакомиться с Али-Суави и создали себе весьма отрицательное о нем мнение. Они решили предпринять издание своей собственной газеты. Средства на это давал Мустафа Фазыл-паша. Однако созданию этой газеты помешало неожиданное обстоятельство: приезд в Париж султана Абдул-Азиса. Опасаясь каких-либо эксцессов, а может быть и покушения, французское правительство решило удалить из Парижа турецких эмигрантов, список которых был представлен оттоманским правительством. Кемаль и Зия вынуждены были уехать в Лондон. Здесь 29 июня 1868 года вышел первый номер «Хурриет» («Свобода»).

В четвертом номере этой газеты было помещено следующее объявление:

«Наша газета, издаваемая Обществом новых османцев, будет выходить раз в неделю. В ней будут обсуждаться вопросы, касающиеся спасения и блага османского народа и государства. Она будет высылаться бесплатно лицам, живущим в восточных странах, по присылке стоимости почтовых расходов».

HURRIYETE

REVUE DU HURRIYETE

حریت

Газета «Хурриет», издававшаяся в Лондоне Обществом новых османцев.

Тот факт, что Общество новых османцев решило сделать своим официальным органом именно «Хурриет», а не «Мухбир», издаваемый Али-Суави, ясно говорит за то, что не один Кемаль и Зия отрицательно относились к этому персонажу. Однако, они считали вредным ссориться с Али-Суави, и в своей статье, напечатанной в первом же номере газеты, Зия, подробно останавливаясь на той роли, которую должен сыграть «Хурриет» в деле борьбы за свободу Турции, отдает должное политическому значению «Мухбира».

Вначале издательством «Хурриет» заведывал Решад-бей, но уже после выпуска пятого номера он уехал в Париж, и газета полностью перешла непосредственно к Кемалю и Зие. Газета выходила около двух лет, и всего было напечатано около ста номеров. Газета была далеко не революционной. Зия использовал ее, главным образом, как трибуну для своих ожесточенных выпадов против Али и Фуада. Весьма мирно настроенный по отношению к махровому реакционеру и типичному деспоту – Абдул-Азису, он даже пользовался «Хурриет» для того, чтобы приветствовать политику султана в тех случаях, когда Турция делала робкую попытку сопротивляться слишком наглым поползновениям европейского империализма. Намык Кемаль был более радикален в своих статьях, но он витал в сфере абстрактных рассуждений о свободе, любви к отечеству, необходимости прогресса. Под влиянием Зии он также был склонен объяснять все преступления и всю гнилость режима личными качествами Али и Фуада. Когда в начале 1869 года в Ницце от болезни сердца умер Фуад-паша, для младотурок это был настоящий праздник, как-будто для Турции с этой смертью

наступала новая эра.

Умеренность газеты определялась еще и тем, что она издавалась на средства египетского магната, пользовавшегося ею, главным образом, как орудием борьбы с ненавистным ему правительством Высокой Порты, но вовсе не заинтересованного в радикальном изменении оттоманского режима, и тем более в пропаганде революционных идей. Однако «Хурриет» сыграл большую роль в оппозиционном движении того времени. Несмотря на всю бдительность оттоманской полиции, номера этой газеты регулярно проникали через границу и расходились среди молодежи.

В стране, где невероятный гнет деспотизма и ужасный обскурантизм давали себя так сильно чувствовать, даже общие, абстрактные рассуждения о свободе и конституции воспринимались как боевой клич к борьбе с режимом. Роль «Хурриет» в развитии событий, закончившихся свержением султана Абдул-Азиса, – бесспорна.

К сожалению, мы очень мало знаем об этом периоде жизни и работы Намык Кемаля, но его выход к 1870 году из «Хурриет» доказывает, что его бурный темперамент борца и радикализм его убеждений не уживались с тем оппортунизмом, которым Зия-бей и другие окрасили орган Общества новых османцев. Одновременно в Обществе начались и другие нелады, а также серьезные финансовые затруднения. Ловкий Али-паша прекрасно понимал, что доставляющая ему столько неприятностей эмигрантская группка и издаваемые ею газеты,[58] держатся только благодаря субсидиям Мустафа Фазыл-паши. В конце концов между египетским Крезом и Высокой Портой не было неразрешимых противоречий. Было не так-то трудно дать удовлетворение ущемленному самолюбию магната, классовые интересы которого объединяли его с оттоманским абсолютизмом.

В начале семидесятых годов значительно ухудшились отношения между Высокой Портой и египетским хедивом, который, пользуясь борьбой, возгоревшейся из-за Египта и за Суэцкий канал между Францией и Англией, начал строить новые планы отделения Египта от Турции. В этих условиях Высокой Порте необходимо было создать противовес этим планам путем покровительства оппозиционной тогдашнему хедиву клике, которую возглавлял Мустафа Фазыл, являвшийся недурным претендентом на трон хедива.

Али-паша стал засылать к нему искусных эмиссаров, которые в конце концов убедили пашу вернуться в Стамбул. Понятно, что он немедленно же прекратил всякие субсидии младотуркам.

Не менее коварно поступил с ними и их другой

«покровитель» – наследник Мурад, на которого они возлагали столько надежд. Когда Зия и Кемаль бежали в Париж, он немедленно передал им через своих агентов, что не оставит их без материальной поддержки. Но после посылки нескольких небольших сумм эта помощь совершенно прекратилась. К 1870 году пришлось не только отказаться от выпуска «Хурриет»,[59] но и Кемаль с Зией остались за границей вообще без всяких средств к существованию.

Это был момент, когда начался первый разлад Намык Кемаля с Зией. До этого времени преклонение Кемаля перед старшим его на 15 лет и имевшим крупный литературный авторитет Зией было безграничным. «Ради уважения едят сырую курицу», – говорит турецкая поговорка. Несмотря на разницу их характеров, темпераментов и политических устремлений, Намык Кемаль всецело подпал под влияние Зии, и только внимательно анализируя статьи и письма того и другого, можно указать, какая глубокая трещина начала создаваться в их братской дружбе.

Газета «Мухбир», издававшаяся в Париже эмигрантом Али Суави.

В Лондоне Зия написал свой известный памфлет «Сон». В этом маленьком произведении, как в зеркале, отразилась вся узость политических взглядов этого придворного карьериста, выражавшего идеологию либерального чиновничества и брошенного в оппозицию и эмиграцию силою личной ненависти, которую он питал к тогдашним руководителям оттоманского правительства, и личных счетов с ними.

В своем произведении он рассказывает, как, сидя в одном из лондонских садов на берегу пруда и вспоминая все свои неприятности с Али-пашой, он уснул и увидел себя в Стамбуле на берегу Босфора, в Бешикташском дворце. Очутившись глаз на

глаз с падишахом, он ведет с ним длинную беседу, доказывая всю бездарность и преступность правления Али-паши, отстранившего наиболее способных помощников, раздавшего все высшие должности своим ничтожным ставленникам, неспособного защищать права и достоинства нации от посягательств иностранцев. Ему удается убедить Абдул-Азиса ввести конституцию, созвать парламент, а неспособного и реакционного визиря немедленно снять с поста. Султан поручает Зие тут же отобрать у Али-паши государственную печать и удалить его из Стамбула. Зия приезжает в загородный дворец Али-паши в разгар пышного приема.

– Как, вы не в Европе? – встречает его Али с изменившимся лицом. – Что вам здесь надо?

– Я явился объявить вам волю султана, – говорит Зия и перечисляет ему все то зло, которое он причинил стране.

– Как вы смеете оскорблять меня в моем собственном доме? – вскипает Али.

– Простите, но падишах поручил мне отобрать у вас печать и послать вас начальником округа на Кипр, куда вы хотели сослать меня. Я пришел выполнить волю султана.

С Али-паши сходит вся спесь. Все его гости быстро покидают дворец. Али-паша умоляет Зию: «я сделал это, но ты не делай!» Но Зия неумолим: он отбирает печать и велит усадить Али-пашу на пароход, отплывающий на Кипр.

Эта идеализация Абдул-Азиса, изображение его в виде обманутого доброго монарха, которому нужно открыть глаза на преступную деятельность его приближенных, так противоречил истинному образу этого тупого деспота, что памфлет Зии вызвал недовольство даже у его ближайших друзей. Есть основание думать, что Кемаль также почувствовал всю узость его политических взглядов.

Интересно, что Кемаль также написал небольшое поэтическое произведение под тем же названием. Но, в противоположность Зие, во «Сне» Кемаля нет никаких верноподданнических излияний. В нем он говорит о рождении «феи Свободы». Это произведение проникло в Турцию, вызвало восторг молодежи, ходило в сотнях рукописных списков и тайно передавалось из рук в руки.

С прекращением лондонского «Хурриет» отношения между Кемалем и Зией становятся натянутыми. Зия уезжает в Женеву, где возобновляет издание «Хурриет», на этот раз без Кемаля. Существование газеты было однако весьма недолговечным. Ее первый номер вышел 3 апреля 1870 года, а 22 июня она вновь, на этот раз окончательно, прекратила свое существование.

Кемаль тоже покинул Лондон и уехал в Париж. Здесь он намеревался создать свой орган, но начинающаяся франко-прусская война побудила его переехать в Бельгию. В Брюсселе его товарищ по Обществу новых османцев Нури-бей подготовлял выпуск новой газеты «Народное будущее», но расширение военных действий, тревожное положение в Брюсселе заставило его отказаться от этой мысли. Намык Кемаль уезжает в Вену, где поклонник его таланта, турецкий посол Халил Шериф-паша,[60] предлагает ему свое гостеприимство. В Вене Кемаль остается пять месяцев.

8 августа 1871 года было радостной датой для всех турецких эмигрантов. Их главный враг, великий визирь Али-паша, умер в Стамбуле. На его место на пост садразама (великого визиря) был назначен Махмуд Недим-паша. Среди многих младотурок эта весть возбудила радужные иллюзии: Махмуд Недим-паша был дядей одного из главарей Общества – Мехмед-бея; все были уверены, что ради своего племянника, которого он очень любил, новый визирь амнистирует и других членов Общества и позволит им вернуться в Турцию. К этому времени большинство эмигрантов, живших за границей в большой нужде и изверившихся в возможность вести отсюда какую-либо работу, только и мечтали о возвращении на родину.

Во главе лагеря наиболее старых «возвращенцев» стоял Зия. До своего отъезда за границу он был в хороших отношениях с Махмуд Недим-пашой, писал в честь его хвалебные оды, и, как ему казалось, мог рассчитывать теперь на его покровительство. Кроме того он был уверен, что немилость к нему Абдул-Азиса объяснялась исключительно влиянием ненавидевшего его Али-паши. Теперь перед его глазами рисовались радужные перспективы приближения ко двору, назначения на первые должности в государстве, что позволит ему, как он думал, провести те либеральные реформы, без которых страна не могла больше жить.

Еще из эмиграции, узнав о назначении нового садразама, он послал падишаху стихи:

> Ты передал печать тому, кто солнцу ясному подобен,
> Кто славен доблестью, способностью к труду и интересам дела предан.

Зия не замечал, что его слова звучат, как злая насмешка. Махмуд Недим не обладал ни одной из приписанных ему добродетелей. Его таланты сводились к тому, чтобы ловко лавировать среди придворных интриг и быть послушным орудием

в руках русского посла Игнатьева. Свои доблести он проявлял лишь тогда, когда дело шло о казнокрадстве и взяточничестве, а его «преданность делу» выражалась в усилении деспотического режима.

Пессимистические нотки в настроение эмиграции вносил Мехмед-бей. Приход ко власти его дяди пришелся ему далеко не по вкусу.

– Мой дядя, – говорил он товарищам, – вовсе не тот человек, как вы его себе представляете. Боюсь, как бы нам не пришлось пожалеть об Али и Фуаде.

Но на эти слова не обратили внимания. Все эмигранты отправились в турецкое посольство в Париже с просьбой о разрешении вернуться. Махмуд Недим-паша, ради племянника, действительно добился от султана общей амнистии для эмигрантов, но когда те обратились в посольство за визами, там согласились дать немедленно визу лишь Мехмеду; в отношении же остальных сочли более благоразумным запросить Стамбул. Этот ответ вызвал волнение среди эмигрантов. Мехмед-бей заявил, что при этих условиях он также отказывается ехать.

– Или нам всем разрешат ехать, или я тоже остаюсь. Что бы ни случилось, мы будем все вместе!

Товарищи, напротив, уговаривали его:

– Твой отъезд необходим. Если ты не поедешь, никому из нас не дадут разрешения. Поезжай, поговори с дядей, пусть он даст распоряжение посольству. Тогда и мы сможем вернуться.

В конце концов Мехмед согласился. А в скором времени визу получили и остальные члены Общества. Эмиграция была ликвидирована. Махмуд Недим в этом отношении был более дальновидным политиком, чем его предшественники. Существование оппозиционной группы в Европе доставляло большие неприятности оттоманскому правительству. Издаваемая эмигрантами пресса все время просачивалась нелегальным путем в Турцию и будоражила молодежь; через эмиграцию, завязавшую широкие знакомства в европейских политических и литературных кругах, в европейском общественном мнении усиливались настроения негодования и отвращения к деспотическому режиму, царившему в Турции. Создавалась угроза для той политики внешних займов, в которой турецкое правительство видело единственное средство к поддержанию существующего режима.

Теперь эмиграция безболезненно ликвидировалась сама собой, и вся эмигрантская группа возвращалась на родину, где правительству нетрудно было следить за каждым ее шагом и где оно располагало средствами заставить ее, в случае необходимости, молчать.

В самую группу был внесен большой разлад. Одни хотели вернуться, чтобы окончательно порвать с политикой, устроиться и как-то обеспечить свою карьеру. Зия мечтал о высоких назначениях и о той первостепенной роли, которую он будет играть в государственных делах. Кемаль же думал о том, чтобы возвратившись, начать новую борьбу с режимом произвола. Эмиграция была для него великолепной школой, откуда он вынес богатый опыт и новые знания, необходимые ему для продолжения своей политической и литературной деятельности.

Махмуд Недим-паша.

Близкий контакт с европейской культурой, западной литературой и искусством наложили на него сильный отпечаток и помогали ему еще лучше видеть отсталость Турции во всех областях.

Помимо занятия политикой, и Кемаль, и Зия изучали в Европе литературные течения, классическую и новую литературу Франции и Англии. Зия перевел на турецкий язык мольеровского «Тартюфа», а также «Эмиля» Жан-Жак Руссо. Эти переводы сослужили большую службу турецкой литературе, познакомив ее с неизвестными ей до тех пор образцами классической европейской литературы. Эта работа имела, кроме того, еще одну важную сторону: в своих переводах Зия отошел от классического напыщенного и высокопарного турецкого стиля и стал применять простой и общедоступный турецкий язык. Отступил он и от канонов старого турецкого стихосложения, впервые применив при переводе «Тартюфа» европейские формы и размеры стиха, на что не решались даже многие последующие турецкие писатели,

мотивируя это тем, что турецкие слова и обороты не укладываются в европейские размеры.

Намык Кемаль также изучал иностранную литературу. Наибольшее влияние, сказавшееся потом в его литературных произведениях, оказали на него французские романтики. Он зачитывался Виктором Гюго, Александром Дюма, Ламартином. Одновременно он изучал ряд общественных и экономических наук, переводил «Дух Законов», Монтескье, произведения Руссо, Кондорсе, Бакона, сблизился с виднейшим французским юристом – Эмилем Аккола и вообще знакомился с европейской жизнью, в которой его все восхищало. О своих впечатлениях он впоследствии рассказывал соотечественникам в статье «Путешествие в Лондон». Комфортабельные жилища, школы, университеты, музеи, зоологический сад и магазины, электрическое освещение и конституционные законы, наконец парламент – все приводит его в восторг. О парламенте он пишет:

«Если кто-либо из приехавших в Лондон пожелает убедиться наглядно в том, что здесь царят справедливые законы, ему достаточно будет взглянуть на это грандиозное здание парламента, являющегося колыбелью, откуда исходят законы, которые позже распространяются по всему миру. Достаточно бросить взгляд на это величественное здание, чтобы получить представление о том, какую крепость для общественного мнения оно представляет. Кажется, что оно специально построено из столь могучего камня, чтобы показать, что оно не боится никаких потрясений».

За всем этим Кемаль не замечает оборотной стороны капиталистического строя, страшной нищеты трудящихся классов, бешеной эксплоатации рабочих, ужасов безработицы, колониального грабежа, на котором основывалось все это богатство английской культуры. На Англию он смотрит, лишь сравнивая ее со своей собственной страной, и тогда она кажется ему идеалом, лишенным каких бы то ни было недостатков.

«В суде, – пишет он, – к каждому человеку из простонародья, пусть он будет даже убийцей, не обращаются иначе, как со словом: „господин“; в школах двенадцатилетние мальчики, по своим знаниям, выглядят молодыми людьми, прошедшими длинный курс науки, а затем вновь превратившимися в детей. Есть училища, где изучают 3–4 языка и 6–7 научных предметов».

Все поражает его: газеты в руках детей 10—12-летнего возраста, матросы, изучающие в свободное время математику. И вот теперь он возвращался в страну, где живут так, как сотни лет тому назад, и где нет ни современной культуры, ни элементарной свободы.

Снова на родине

Этого Кемаля надо повесить на первом попавшемся дереве, но, проходя под этим деревом, следует плакать.

ФУ АД-ПАША О Намык Кемале

За годы, проведенные Кемалем в эмиграции, Турция мало чем изменилась. Он нашел все ту же бедную, разоренную страну, полное бесправие народа и безграничный произвол придворной камарильи.

Попрежнему плелись от набережных, сгибаясь под непосильно тяжелой ношей, вереницы изможденных хамалов,[61] а полуголые грязные нищие протягивали изъеденные язвами руки на галатском мосту. На Пера, в Галате открылись богатые греческие, армянские и европейские магазины, постепенно вытесняющие национальную турецкую торговлю. Старые кварталы Стамбула казались еще больше, чем прежде, запущенными и разоренными. Зато вдоль прекрасных берегов Босфора стояли сейчас новые великолепные мраморные дворцы султана и феодальной знати. Пиры и пышные празднества не прекращались в роскошных загородных виллах вельмож. Иностранный капитал щедро платил султану и его камарилье за право безконтрольного хозяйничанья в стране.

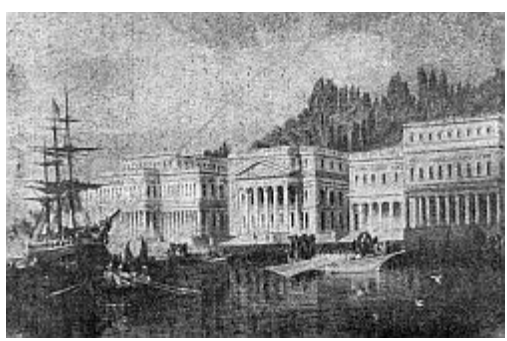
Значительные изменения произошли во внешней политике Турции. Отношения с Францией начали портиться еще с 60-х годов, когда, под предлогом защиты маронитов[62] против друзов, [63] Франция послала экспедиционный корпус в Сирию.

С момента поражения Франции в войне с Пруссией и демонстративного заявления России, что она не считает себя более связанной обязательством Парижского договора в отношении черноморского флота, Высокая Порта сочла нужным коренным образом пересмотреть свою ориентацию.

Россия вновь становилась опасным врагом, и не было больше надежд на французскую поддержку. Кроме того, самодержавию Абдул-Азиса был гораздо родственнее русский абсолютизм, чем европейские конституционные режимы с их «общественным мнением», ради удовлетворения которого Европа от времени до времени напоминала Турции о необходимости проведения демократических реформ.

С приходом ко власти Махмуда Недим-паши эта смена ориентации была полностью осуществлена. Махмуд Недим всячески поощрял в султане стремление к неограниченной власти. Он повторял Абдул-Азису: «государство, нация, словом, все находится в руках падишаха, и он волен во всех своих поступках. Что касается Европы, то она не посмеет вмешиваться в наши внутренние дела. Для нас важнее прислушиваться к мнению наших соседей – русских. С Россией нам надо быть в дружбе».

Ловкий интриган Игнатьев – «вице-султан», как насмешливо окрестили его в дипломатическом корпусе, и «отец лжи», как называли его турки, – стал буквально хозяином в Высокой Порте. Для русского посла были открыты все двери, правительство спешило предупредить каждое его желание. Но Махмуд Недим, понятно, не порывал и с Францией, откуда шли в виде займов необходимые правительству денежные средства. Насквозь прогнивший, давно бы уже рухнувший, если бы он был предоставлен самому себе, деспотический режим подпирался теперь русскими штыками и монументальной колоннадой Парижской биржи. Русские интриги в придунайских и других, подвластных Турции, славянских областях, постоянно угрожали восстанием, за которым должна была последовать интервенция северного соседа. На французское золото содержалась полиция и вооружалась армия, мало пригодная для защиты внешних границ, но зато вполне достаточная для подавления всякого внутреннего революционного движения.



Бешикташский дворец на Босфоре.

Вся трагедия Турции заключалась в том, что в тот момент, когда внутренние условия ее развития поставили на очередь свержение абсолютизма, появились могучие внешние факторы, поддерживавшие этот режим против нараставшей революционной волны.

Политически близорукий и ослепленный надеждами на высокую карьеру, Зия-паша по своем возвращении в Стамбул не

замечал вначале всего этого. Ему казалось, что со смертью Али и Фуада для Турции наступила новая эра. Он был уверен в благоволении к нему султана и нового великого визиря. В первое время он был у него почти своим человеком. Каждый вторник его приглашали на раскошные приемы в загородный дворец Махмуд Недима, где он встречался со всей верхушкой правительства. Из-под его пера в изобилии лились одна за другой хвалебные оды, то в честь падишаха, то в прославление нового главы правительства. Читая эти стихи, можно было думать, что для Оттоманской империи наступил «Золотой век» и что под «мудрым» управлением ожиревшего пьяницы Абдул-Азиса страна переживает исключительное благосостояние.

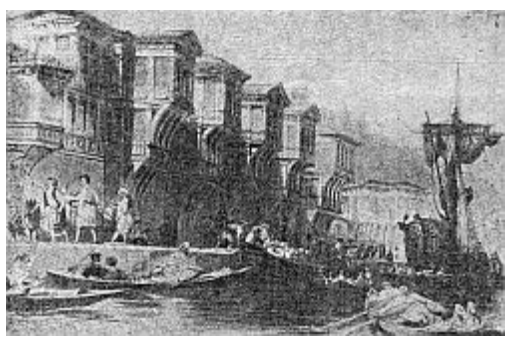
Но, если льстивые излияния Зии принимались дворцом и правительством не без удовольствия, то практически он не видел от них никаких для себя результатов. Назначение на высокий пост заставляет себя ждать. Падишах, в расположение которого к себе он твердо верил, не хотел его даже видеть. Он не скрывал своей ненависти к человеку, который осмелился бежать за границу и выступать там, хотя и весьма умеренно, против самодержавия.

Была и другая причина этой ненависти. В «Хурриет» Зия, под влиянием взятой младотурками линии, написал ряд статей в защиту старой системы престолонаследия, т. е. передачи трона старшему в роде. Эта система обеспечивала престол Мураду, которого, как мы видели выше, младотурки считали своим.

Абдул-Азис специально избрал великим визирем послушного Махмуд Недима, чтобы провести изменение этой системы, но оно наталкивалось на сопротивление даже среди влиятельных улемов, так как порывало с вековой традицией ислама. Понятно, что Зия, публично выступивший против лелеемых падишахом планов, не мог рассчитывать на симпатии этого последнего.

Расстроенный, переживающий сильные материальные затруднения, Зия осужден был на вынужденную бездеятельность. Пробыв около пяти лет на чужбине, он и сейчас у себя в стране выглядел чужим человеком. Хорошие отношения к нему великого визиря также продолжались весьма недолго. Вместо высокого правительственного назначения, которого он все время ожидал, Махмуд Недим-паша после долгих проволочек предложил ему наконец пост в одной правительственной комиссии. В состав этой комиссии входили: помощник садразама, министр финансов и ряд крупных сановников. Комиссия была создана для выработки контракта с Компанией восточных железных дорог, получившей концессию на железнодорожное строительство в Европейской Турции.

Дороги эти строились знаменитым тогда международным финансовым хищником бароном Гиршем, нажившим на этом строительстве миллионы, часть которых он жертвовал потом на еврейскую колонизацию, русские церковно-приходские школы и на поддержание компаний французских монархистов. Гениальные финансовые комбинации этого авантюриста второй империи, тип которого великолепно описан в романах Эмиля Золя, опустошали в равной мере сбережения европейских рантье и казну оттоманского правительства. Но они носили столь открыто грабительский характер, что даже Махмуд Недим-паша не счел возможным заключить новый договор, не прикрыв его авторитетом специальной комиссии. Назначая туда Зию, он надеялся, что в благодарность за доходное место затертый и нуждающийся поэт станет его послушным орудием и поможет ему покрыть эту постыдную сделку. Однако он ошибся. Зия был карьеристом, готовым расточать свою льстивую поэзию перед сильными мира сего, но он не лишен был элементарной честности. На этой почве между Зией и садразамом и произошло резкое столкновение.



Богатый загородный дворец.

Когда комиссия после долгих дебатов составила проект контракта и направила его великому визирю, Махмуд Недим-паша полностью изменил проект и, вызвав к себе членов комиссии, предложил им подписать его в новой редакции. Зие достаточно было взглянуть на проект, чтобы понять, какой колоссальный ущерб он должен был нанести и казне и стране. Он смело заявил и садразаму и министру финансов, что такого договора ни за что не подпишет.

В ближайший вторник Махмуд Недим-паша позвал Зию на свой обычный прием. Встретив его крайне любезно, он вновь попросил его подписать контракт. Но Зия не соглашался. Тогда садразам вспылил:

– Ваше упорство подтверждает ходящие о вас слухи о том, что

Гирш дал вам взятку в 300 тыс. франков.

Зия вскочил:

– Паша, даже мой злейший, смертельный враг Али-паша не осмеливался подозревать меня в бесчестном поступке. Вы же, чтобы заставить подписать составленный вами никуда не годный, вредный для страны договор, оскорбляете честного человека. Мне больше нечего делать в вашем доме, – и он бросился вон.

Старик-садразам испугался скандала. Он бежал за Зией по лестнице и, хватая его за сюртук, извинялся:

– Милый мой, я просто хотел испытать тебя. Ты знаешь, что я отношусь к тебе как к родному. Не сердись.

Он насильно вернул Зия в залу, но подписи от него все же добиться не мог.

После этой истории отношения Зии с великим визирем совершенно испортились. Он пытался еще обратить на себя внимание султана своими стихами, ему посвященными, предпринял издание большого сборника старинной поэзии, который, как он надеялся, должен был вернуть ему расположение двора. Но все было напрасно.

В противоположность Зие, уже с самого момента возвращения в Стамбул, Намык Кемаль развил лихорадочную общественную и оппозиционную деятельность. Он немедленно начал сотрудничать в газете «Хадика», издаваемой Эбуззиа-Тефиком, а вскоре затем в компании с этим последним, а также со своими друзьями Нури и Решадом, бывшими с ним в эмиграции, и своим родственником – Махиром, начал издавать газету «Ибрет» («Назидание»), купленную у одного армянина. Главная журналистская деятельность Намык Кемаля относится именно к эпохе «Ибрет».

Когда-то величайший турецкий архитектор Синан, чьи величественные здания, украшающие Стамбул и Адрианополь, остаются непревзойденными шедеврами оттоманской архитектуры, говорил о своих трех мечетях: «В Шах-заде – я ученик, в Сулеймание – подмастерье, а в Селимие – мастер.[64]

Намык Кемаль мог сказать те же слова про три свои газетные эпохи: „Тасфири Эфкяр“, „Хурриет“ и „Ибрет“. В этой последней он действительно выявил себя мастером.

Опыт заграничной жизни, изучение европейской литературы и журналистики оказали ему громадную услугу. По выражению недавно скончавшегося турецкого литературного критика Сулеймана Назифа, когда Намык Кемаль бежал за границу, турецкая пресса лишилась ножа, но когда он вернулся, она приобрела бритву.

Популярность Кемаля в то время была уже так велика, что

появление „Ибрет“ составило в жизни Стамбула настоящее событие. Это был как бы луч света в атмосфере полного мрака.

„В день выхода первого номера газеты,[65] – рассказывает в своих воспоминаниях Эбуззия-Тефик, – на улицах Стамбула царило необычайное оживление. На публику сильнее всего, лучше всякой рекламы, подействовали имена младотурок – издателей газеты, Номер был моментально раскуплен. Днем было выпущено второе издание в 5 тыс. экземпляров. Всего первый номер разошелся в количестве 25 тыс. экземпляров“.

Ежедневно газета печатала статьи по вопросам внутренней и внешней политики, как-то: „Наша будущность обеспечена“, „Европа не знает Востока“, „Отечество“, „Семья“, „Предрассудки“, „Право“, „Равенство“, Просвещение», «Завоевание Хивы и Бухары», «Критский вопрос», «Больной человек», «Политика Пруссии» и другие.

В своих статьях Кемаль осторожно, учитывая отсталые взгляды тогдашнего турецкого общества, проповедывал реформу жизненного уклада, искоренение предрассудков, приобщение к западной культуре. В то же время он пропагандировал конституционные идеи и резко критиковал внешнюю политику правительства, которая сводилась к позорному страху перед русским и европейским оружием и к постыдной торговле национальными интересами.

Намык Кемаль по возвращении из эмиграции.

Популярность Кемаля росла не по дням, а по часам. «Ибрет» взбудоражил всю атмосферу Стамбула, что не замедлило встревожить правительство. Махмуд Недим решил принять срочные меры. Испытанным старым средством, позволявшим без шума удалять подальше беспокойных людей, как мы видели выше, являлось в то время их назначение на какой-либо чиновничий пост в отдаленную провинцию. Кемаль был послан в Гелиболу[66] начальником округа, Нурибей – чиновником в Ангорскую губернскую канцелярию, Решад – каймакамом[67] в Биледжик, а Эбуззия-Тефик – секретарем в Смирнский суд. Таким образом, обе редакции «Ибрет» и «Хадика» были рассеяны.

На несколько месяцев правительство успокоилось. Но весьма скоро Эбуззия-Тефик, вследствие упразднения Смирнского центрального суда, вернулся в Стамбул и возобновил издание «Хадика». Вслед за этим снова стал выходить «Ибрет». Намык Кемаль посылал из Гелиболу статьи и в ту и в другую газету. В «Хадика» он подписывался «Н. К.», а в «Ибрет» – «Б. М.» (Баш Мухарир – главный редактор).

Нападки на политику правительства в этих статьях стали еще резче. Служба Кемаля в Гелиболу продолжалась недолго. У него возник ряд столкновений с начальником Дарданелльских укреплений и другими крупными чиновниками округа. Как-то, ввиду появившихся случаев бешенства, окружное управление распорядилось расселить бродячих собак, предварительно отделив самцов от самок, по различным кварталам города. Как известно, до младотурецкой революции 1908 года бродячие собаки в Турции пользовались настоящей «неприкосновенностью». Кемаля обвинили в святотатственном оскорблении собачьего рода и уволили со службы.[68]

Понятно, что возможность вернуться в Стамбул[69] была для него настоящим счастьем. Он вновь становится во главе «Ибрет» и продолжает свою кипучую журналистическую деятельность. К этому периоду относится и ряд переводов европейских произведений, сделанных Кемалем. В частности, им были переведены весьма удачно на турецкий язык стихи национального французского гимна «Марсельезы», которая во всех странах самодержавного режима была в то время революционным гимном.

Приобретенный политический и журнальный опыт не мог не натолкнуть Кемаля на мысль, что, ввиду безграмотности подавляющего большинства населения, турецкая пресса является крайне ограниченной трибуной для распространения идей, которые в первую очередь предназначены для проникновения в

широкие массы. Лишь небольшая кучка образованных людей: чиновников, людей свободных профессий, буржуазии, т. е. в общей сложности несколько десятков тысяч человек на всю громадную страну, читали газеты и могли усваивать ту проповедь обновления и реформ, которую он неустанно вел со страниц различных изданий. Для всей остальной массы населения печатное слово было недоступным. В поисках средств более широкого и доступного влияния на массы, Намык Кемаль натолкнулся на мысль о театре.

В бытность свою в Европе, он не мог не заметить, каким могучим средством воздействия на массы является театр. В театр шли не только представители зажиточных и обеспеченных классов, но и мелкая буржуазия, ремесленники, рабочие, студенческая молодежь. Неграмотный человек, не способный прочесть двух печатных слов, прекрасно воспринимал идеи автора, воплощенные в живой образ, в живое действие. Да и для грамотных, но отступавших перед сухостью газетного языка, маленький диалог на сцене усваивался лучше, более непосредственно влиял на чувства, чем лучшая газетная статья. Все это убеждало Кемаля в громадном значении, театра как средства пропаганды и агитации.

К тому времени в Турции настоящего театра не существовало. Официальная религия весьма отрицательно смотрела на это искусство. Полное исключение женщины из общественной жизни создавало дополнительные трудности для его развития. Существовавшая в турецких народных массах громадная потребность в развлечениях театрального типа удовлетворялась примитивными и подчас грубыми формами балаганных представлений: «Орта ойун» (средняя игра) и «Карагез».

«Орта ойун», вышедшая из итальянской «комедия дель артэ», ближе подходящая к нашему представлению о театре, являлась обыкновенным ярмарочно-балаганным представлением, часто содержавшим весьма грубые и скабрезные шутки. «Карагезом» в Турции называют театр теней. Вырезанные из картона силуэты кукол проектируются на белом экране; они делают несложные движения, и орудующие ими актеры говорят за них, как в русском «Петрушке». Обычно ведут игру два или три, освященных вековой традицией, типа: Карагез – простак, наделенный ясным мужицким умом, Хаджи-Эйват – хитрец, говорящий книжным витиеватым языком и, наконец, Бекри-Мустафа – менее постоянный персонаж, роль которого бывает различна.

Газета «Диоген», в которой Намык Кемаль писал сатирические стихи против великого визиря Махмуд Надима.

Как это ни странно, но именно чисто народный Карагез испытал на себе влияние Запада и, в частности, мольеровских комедий.

Во время поста Рамазана, длящегося целый месяц, во время которого верующие не пьют и не едят днем, а по ночам насыщаются и развлекаются, «Орта ойун» и «Карагез» собирают вокруг себя громадное количество зрителей.

В эпоху Танзимата в Стамбуле и двух-трех других городах появились уже театры европейского типа. Правда, это были самые примитивные предприятия. Так как закоренелые предрассудки не допускали даже сравнительно передовых мусульман к профессии актера и заставляли считать ее позорной, пионерами театрального дела в Турции явились армяне и левантийцы. Они были как антрепренерами, так и актерами. Театральные здания представляли собой обыкновенные досчатые балаганы, устроенные самым примитивным образом. В 60-годах в Стамбуле было два таких театра: один в Галате, другой – на азиатском берегу Босфора. Пьесы ставились в них переводные, по большей части самого дурного вкуса. Только гораздо позже были поставлены мольеровский «Мещанин во дворянстве», оперетта «Жирофле-Жирофля» и «Горе от ума» Грибоедова, в переводе беглого черкеса Мухамед Мюрад-бека.

Национальных турецких пьес в то время еще не было. Первая чисто турецкая пьеса «Женитьба поэта», написанная лет 15–20 перед тем Шинаси, никогда не увидела подмостков и была уже давно забыта, несмотря на ее сценические достоинства. Таково было положение с турецким театром, когда Намык Кемаль принялся писать свою первую, наделавшую столько шума и так печально отразившуюся на судьбе автора пьесу: «Отечество или Силистрия».

«Отечество или Силистрия»

Один из писателей сказал: «Самое прекрасное произведение то, которое вызывает у человека слезы». По моему мнению, самое прекрасное произведение то, чтение которого заставляет человека задуматься.

РИДЖАИЗАДЕ ЭКРЕМ

Силистрия, сильная по своему местоположению турецкая крепость на Дунае, передовой форпост Оттоманской империи против экспансии русского империализма в сторону Балкан, подвергалась не раз осаде. В 1808 году она была взята русскими, но возвращена по мирному договору. В 1828 году русская армия вновь осаждала ее, но безуспешно. Следующее, также неудачное, предприятие русской дунайской армии против Силистрии было преддверием Крымской войны.

В 1854 году Энгельс поместил в «Нью-Йорк Трибюн» две статьи, посвященные осаде Силистрии. В одной из них он пишет:

«Осада Силистрии несомненно с военной точки зрения важнейшее событие с начала войны. Кампания для русских должна считаться проигранной после того, как им не удалось взять эту крепость. Десятидневный обстрел дальнобойными орудиями, двенадцатидневное пребывание в открытых траншеях, две минные атаки и четыре или пять штурмов, причем все это закончилось поражением врага…

Поистине в военной истории едва ли найдется другой подобный пример геройского сопротивления…»

Какую из этих осад выбрал Кемаль как эпизод, послуживший сюжетом для его пьесы, – мы не знаем. Но несомненно, что, как сюжет, осада Силистрии была взята чрезвычайно удачно. Героическая роль крепости сделала ее имя популярным среди широких масс. Одно уже слово «Силистрия» было символом героической отваги и самоотверженных подвигов сынов турецкой нации. А самое главное, без какой-либо непосредственно оппозиционной и открытой пропаганды, в самом тексте, все понимали, что пьеса, при всей ее кажущейся невинности, направлена против нынешней политики правительства.

В самом деле, достаточно было произнести слово «Силистрия», чтобы немедленно возник образ страшного врага, угрожающего независимому существованию Турции, и это именно

в тот момент, когда правительство, в лице великого визиря Махмуд Недима и самого султана, вело себя, как покорный слуга этого врага. Вот почему, как ни слаба была пьеса, как ни казалось совершенно аполитичным ее содержание, и турецкое общество, и само правительство моментально поняли, что она является знаменем нового наступления против режима.

Фабула пьесы была весьма незамысловата:

Герой – молодой офицер Ислам-бей, по первому призыву, покидая горячо любимую девушку Зекийеханым, идет на защиту родины, которой угрожают русские. Перед уходом он говорит друзьям в порыве патриотизма: «Кто любит меня – пусть следует за мной!» Девушка не переносит разлуки и, памятуя сказанные ее женихом слова, тайно, в мужской одежде, следует за Ислам-беем в лагерь, Во время штурма Силистрии молодой человек ранен, и когда приходит в себя, видит у своего изголовья Зекийе.

Положение крепости настолько тяжело, что начальник видит спасение лишь в том, что кто-либо, согласившись пожертвовать собой, проберется в лагерь противника и взорвет там пороховые запасы. Добровольцами вызываются Ислам-бей, Зекийе-ханым и чауш (фельдфебель) Абдулла.

Казалось бы смельчаки должны погибнуть, но каким-то чудом они возвращаются невредимыми. Крепость спасена. Между тем открывается, что комендант крепости не кто иной, как отец Зекийе, давно уже расставшийся с семьей и потерявший с нею связь. Узнав, что это его дочь, он с радостью соглашается выдать ее за героя – Ислам-бея. Пьеса, несмотря на все свои недостатки, оказалась эффектной с внешней стороны. В ней прозвучал давно не слышанный в Турции призыв любить и защищать родину.

«Отечество в опасности, – восклицает в одном из своих монологов Ислам-бей, – и мне ли спокойно сидеть дома. Любовь к отечеству должна быть теперь священнее всего на свете. Отечество в опасности, слышишь ли ты… отечество возростило меня. Я был наг и оделся под сенью отечества. Разве я не человек? Разве у меня нет долга? Разве я не обязан любить отечество? Отечество, которое охраняет права и жизнь каждого, теперь само нуждается для своей защиты в своих сынах».

Каждая из этих патриотических фраз была как бы вызовом, бросаемым правительству, тому правительству, которое торговало каждой пядью турецкой земли, правами на жизнь своих подданных, которое держалось лишь штыками и золотом иностранных империалистов. В то время как кровь турецкого народа лилась на всех окраинах необъятной империи, султаны и правительство широко открывали двери иностранному владычеству и отдавали иностранцам крепости, острова и

провинции. Ислам-беи и чауши Абдуллы жертвовали собой под Силистрией, Белградом, Севастополем, Эрзерумом, а Абдул-Азис и Махмуд Недим-паша раболепно простирались перед Игнатьевым.

Представление «Отечества» стало событием.

Пьесу свою Намык Кемаль поставил в небольшом театре в квартале Гедик-Паша. Антреприза принадлежала армянскому режиссеру Гюллю Агоп-эфенди, с которым Кемаль подписал договор на представление «Отечества» и других пьес, которые он собирался писать. Уже одно имя автора – «Федаи-Кемаль», значившееся на афишах, до крайности возбудило энтузиазм молодежи.

Хотя французские революционные события 1871 года происходили для Турции как бы в другом мире, но все же они не могли не оказать известного влияния на настроения умов турецкого общества. К этому времени начинается значительное брожение среди стамбульских софта, невольных затворников душных медрессе, которых гнало в эти мавзолеи схоластики почти полное отсутствие каких-либо иных высших учебных заведений.

Сам тип софта совершенно изменился. Вместо того чтобы покорно заниматься одуряющей зубрежкой пожелтевших пергаментов Абу-Ханифы[70] и других казуистических тонкостей мусульманской юриспруденции, они шумной гурьбою наполняли пустынные улицы стамбульских кварталов и оживленно обсуждали политические события. Правительство начинало с опаской взирать на их пробуждение к сознательной общественной жизни. Статьи, письма, стихи Кемаля находили у них самый живой отклик, и имя молодого публициста и писателя пользовалось в их среде небывалой популярностью.

Объявление о предстоящем представлении «Отечества» явилось для них боевым призывом. В первый же день спектакля театр был полон, а за его дверьми стояли толпы студенческой молодежи, не сумевшей попасть внутрь, но еще больше, чем сами зрители, способствовавшей превращению представления в противоправительственную демонстрацию.

Но не одна молодежь явилась смотреть пьесу. Среди присутствовавших было много крупных чиновников, знати, вроде Мустафа Фазыл-паши, и буржуазии, открыто высказывавших свое недовольство режимом.

Еще до начала представления и в зале и в публике, оставшейся снаружи театра, слышались несмолкаемые крики:

«Да здравствует наш народный Кемаль!»

Энтузиазм растет с минуты на минуту. Зрители нескончаемо

требуют автора, и при каждом его появлении аплодисменты превращаются в ураган.

По окончании пьесы тысячная толпа ждала Кемаля у выхода из театра, собираясь нести его на руках по улицам. Из скромности автор тайком уехал домой. Но публика не расходилась. С фонарями в руках, как в священную ночь «Кадир Геджеси»,[71] шла по улицам молодежь с криками: «Да здравствует Кемаль!» Стамбул давно уже не видел подобной манифестации.

Второе представление «Отечества» было еще более блестящим и демонстративным. Правительство не на шутку встревожилось. Встревожился и сам султан Абдул-Азис, в особенности, когда ему донесли, что шедшая по улицам после представления толпа потеснила полицейских чиновников и на их вопрос: «Каковы намерения собравшихся?», кричала: «Да даст нам аллах исполнение нашей воли».

Дело в том, что по-турецки слово «воля» – «мурад». Абдул-Азис не без причины заподозрил, что этим двусмысленным кличем толпа приветствовала ненавидимого им наследника Мурада. Он пришел в ярость, вызвал к себе великого визиря Сакызлы Эсат-пашу, недавно сменившего на этом посту чем-то не угодившего султану Махмуд Недима, и потребовал немедленного ареста Кемаля и его заточения в какую-нибудь отдаленную тюрьму. Когда великий визирь осмелился возразить, что согласно законов Танзимата нельзя заточить человека в тюрьму без суда, совершенно не владевший собой падишах надавал главе правительства пощечин.[72]

Колотя в неистовом гневе по физиономии старого паши, Абдул-Азис воображал, что он расправляется не только с осмелившимся противоречить ему правительством Высокой Порты, но и со всеми законами ненавистного Решид-паши.

Желание падишаха было исполнено. Попирая торжественные клятвы хатишерифа Гюль-Хане, правительство распорядилось об аресте Кемаля. Его арестовали 10 апреля 1873 года в театре, во время третьего представления «Отечества», а через три дня, под крепкой стражей, он был отправлен на остров Кипр для заточения в Магозскую крепость.

Газета «Ибрет» была закрыта; той же участи подверглась и газета Эбуззия-Тефика «Хадика», осмелившаяся незадолго перед тем напечатать прошение рабочих адмиралтейства, жаловавшихся на администрацию за неуплату жалованья, прошение, которое Высокая Порта категорически отказалась принять.

Сам Эбуззия был вскоре сослан в Родос за статью в другой своей газете «Сирадж», под заглавием: «Правительство не может жить без займов».

Подвергся ссылке и еще один молодой передовой литератор Ахмет-Мидхат за статью о дарвинизме, возбудившую неудовольствие духовенства. Так почти одновременно была ликвидирована вся оппозиционная пресса.

Реформаторские течения заглохли. Журналисты теперь пишут статьи, стараясь не затрагивать вопросов внутренней политики. Появляются журнальчики со странными названиями: «Чанта» (сумка), «Сандык» (ящик), «Кырк Амбар» (сорок амбаров), «Дагарджык», «Хазине» и другие. Ни один из них не живет более года. В стране царит беспросветный мрак реакции.

Мои тюрьмы

Бесстрашно для родины все претерпи, Тиранию в корне разрушим.
И, если тюрьмой будет центр земли,
Взорвав ее, выйдем наружу.

НАМЫК КЕМАЛЬ

В ком не возбуждало романтических эмоций одно слово «Кипр» – название острова, с которым связаны самые светлые, поэтические мифы эллинского античного мира. Лазоревое море, ласковое голубое небо, вечная зелень пиний и кипарисов, венчающих прибрежные горы, подножие которых купается в кружевной пене прибоя, пряный аромат миртов и магнолий, – где еще, как не здесь, могла родиться из морской пены прекраснейшая из богинь, вечно юная Афродита.

Греческая цивилизация построила здесь богатые торговые города, украсила берега мраморной колоннадой дворцов и вилл, покрыла их виноградниками и розовыми цветниками, населенными веселым племенем каменных вакхов и фавнов. Позже на развалинах храмов Киприды возникли суровые средневековые замки: сарацинские, с их затейливой мавританской архитектурой, и христианские, с их мрачной строгой готикой.

Тысячелетия остров жил своей жизнью: торговал, служил приютом морских разбойников, опустошался набегами.

Войны средневековья, изменение торговых путей, рост других коммерческих центров мало-по-малу разрушили его торговлю, уничтожили былое процветание. Вот уже несколько веков, как умирали его города, превращались в болота когда-то возделываемые поля, рассыпались в прах некогда прекрасные монументы. Для Оттоманской империи в эпоху упадка это была глухая провинция, использовать которую можно было лишь как место ссылки, убивающей медленно, но верно тех, от кого стремился отделаться самодержавный режим.

Сюда-то в один из ослепительно-солнечных апрельских дней 1873 года пришел пароход, привезший Кемаля и некоторых других ссыльных.

«Я высадился на набережной Кипра приблизительно в четыре часа дня.[73] Пообедал в здании управления. Около шести часов, в сопровождении майора, четырех жандармов и двух артиллеристов, которые окружили меня спереди и сзади, я

пустился в путь. Нам еще оставалось около получаса до Магозы, когда зашло солнце.

Оттого, что оно скрывалось среди туманов и гор, вид заката, пылавшего тысячью мрачных красок, был настолько меланхоличен, что, если бы я наблюдал такой закат в Кючюк-Су[74] в обществе добрых друзей, я может быть невольно заплакал бы. Но в том положении, в котором я был, представившееся моим взорам зрелище не произвело на мои опечаленные чувства никакого впечатления. В моем уме промелькнула лишь простая обыденная мысль: „Вот садится солнце, а завтра оно вновь взойдет“.

Вечер был не очень темный, но казался печальным среди тумана и испарений. Но и это меня совершенно не огорчило. Я шел, как человек, интересующийся мудростью природы, и думал, что этот туман только пар, подымающийся от воды, соображал, насколько он плотен или легок.

При приближении к крепости, среди темноты, наступавшей на светлоголубое облако, мои глаза начали мало-по-малу различать очертания кладбища, среди которого я увидел большой купол. Я спросил у одного из ведших меня, что это такое. Мавзолей оказался могилой шейха Осман-эфенди из Адапазара, жившего здесь в ссылке. Объяснивший мне это простосердечно и наивно добавил, что вокруг похоронено около двадцати ссыльных, не выдержавших зловредного магозского климата. Он описал мне, где находятся их могилы, и не преминул добавить, что люди самой крепкой комплекции, схватив местную лихорадку, умирают. Разговаривая таким образом, мы дошли до окраины кладбища и до мавзолея. На первый взгляд кладбище представилось моим взорам, как спектакль смерти, неизбежно завершающий жизненный путь каждого человека. Я подумал: если надо, чтобы где-нибудь воздух был зловредным, почему ему Не быть таким именно здесь. Какое имеет значение умереть несколькими годами раньше или позже?

Мои спутники, видя мое спокойствие и убедившись, что их рассказы не производят на меня никакого впечатления, равнодушно продолжали свою неуместную болтовню. Так мы дошли до ворот Магозы, прошли через старый деревянный мост и вошли в местечко, которое напоминало покинутое и ставшее руинами кладбище. Вид живых кварталов был настолько жалок и отвратителен, что казалось, будто это толпа мертвецов, у которых на лицах не оставалось ничего, кроме сгнившей кожи, а в теле – сухих костей, мертвецов, вышедших на землю в своих рваных, дырявых саванах в день страшного суда.

Когда мы пришли, ночной мрак задергивал печальный, как

траурная одежда, как забвение вечности, занавес над этим страшным зрелищем. Несколько минут мы шли среди этих руин, не имея возможности ступить шага, чтобы не наткнуться на препятствие или не оступиться о камень на дороге, которая была труднее мышиной тропы. Так, пробираясь ощупью мимо домовнор, дошли мы до комендатуры.

Лица каймакама и майора при нашем приходе отражали страх и нерешительность, как-будто по долгу службы им предстояло казнить родича. Покамест мы плыли на пароходе, местным властям было сообщено по телеграфу, что, вместо высылки в Левкозию,[75] меня должны заточить в Магозу; другая телеграмма говорила о военном аресте. Левкозский каймакам, от глубокого ума, фразу „военнный арест“ понял в странном смысле и дал распоряжение заключить меня в арестное помещение для проштрафившихся солдат.

Прибывший до меня сюда в ссылку Эмин-бей, при переводе его во внутрь крепости, разволновался так, что его хватил удар. Теперь чиновники боялись, что со мной произойдет то же. Это и было причиной их душевного состояния, которое выражалось в их поведении.

Из управления мы пошли в казармы. Поручик, выстроив на площади солдат, совещался. Мы подошли к лестнице. Каймакам тотчас же поспешно спустился по ней.

– Куда мы идем? – спросил я майора.

– В силу необходимости, сюда, – последовал ответ.

Указанное им место было комнатой, устроенной наполовину в земле, между двух выступов, поддерживающих казарму. В дверь нельзя было войти не согнувшись.

Я вошел внутрь. Сбоку, на каменном выступе, был постлан тонкий, как одеяло, матрац. Одеяло было не толще простыни, а подушка – не толще матраца. Я увидел, что размер комнаты сделан как раз по моему росту; пол и стены – земляные. Нигде не было никакого отверстия, даже с иголочную дырку. Я был в могиле, устроенной почти на поверхности земли. Перед дверью поставили двух часовых с ружьями.

Человек, абсолютно не подверженный мнительности, попав в такое положение, безусловно подумал бы, что его собираются казнить. Что касается меня, то я распростерся на предоставленном мне ложе и заснул».

Так описывал Кемаль свою первую ночь в Магозе. Через некоторое время он вновь возвращался в одном из писем к переживаниям первых месяцев своего пребывания в крепости:

«Мой слуга, вернувшись из Стамбула, сообщил о

том, что падишах попрежнему благосклонен ко мне.

В связи с тем, что был Рамазан, я попросил у местных властей разрешения переселиться из казармы в какой-либо дом с условием, что я буду там изолирован и что военная охрана будет за мной наблюдать. Ответа не дали. Значит – отказано. Невыполнение такой пустячной просьбы наводит на сомнения в правильности слов моего слуги. Я хотел пройти мимо этого, но затем подумал и решил все же написать вам хоть что-нибудь. Пусть тот, к кому я обращаюсь, несмотря на старые хорошие отношения, не ответит или обидится; тогда я запишу это событие в уголке своего дневника. Писать об этом не так странно, и во всяком случае не более странно, чем поведение людей, которые полтора года тому назад подверглись ссылке, а теперь один из них, будучи великим визирем, а другой – военным министром, не только без суда, но даже без допроса, высылают и бросают в казематы Акки и Магозы, похожие на червивые язвы, невинных людей. Вот, подумав об этом, я и написал это письмо.

Прежде чем описать вам свое грустное состояние, хочу нарисовать картину Магозы. О ней можно сказать, что она является миниатюрной фотографией Оттоманской империи. Когда смотрю из окна на пустыню, наполненную грудой развалин, на кучу камней, оторванных от скал, мне кажется, будто Исрафил уже возвестил о конце мира, а я не слышал его трубы. Внутри крепости есть много могил, но их называют домами. Иногда из их дыр выходят люди, лица которых напоминают лица покойников, начавших разлагаться. Одежда их ничем не отличается от рваного савана. Если есть где-нибудь мученики, так это здешнее население, ибо в воздухе носится масса опасных миазмов, которые смертоноснее самых современных пушек. Даже самая легкая из этих болезней, как малярия, убивает человека не хуже карабинной пули.

Если существуют где-либо изобретательные люди, так только в этом городишке, так как питание сведено у них до нескольких граммов ячменного хлеба в день. Многие из них даже этого не имеют, так как каждое киле[76] ячменя стоит 35 пиастров.

Несмотря на такое положение, кажется на первый взгляд, что в этом городе люди богаче, чем в Лондоне, ибо с момента своего прибытия сюда я не нашел здесь

такого предмета, который стоил бы дешевле, чем в Лондоне. Даже в такой обильный месяц, как Рамазан, я, кроме козлиного мяса и черного хлеба, испеченного из муки пополам с камнями, да еще незначительного количества баклажан и фасоли, похожих по вкусу на незрелый арбуз, ничего не видал.

Хотеть здесь барашка – это все равно, что пожелать достать с неба овна из Знака Зодиака, искать курицу так же бесполезно, как гнаться за Синей Птицей, а достать молока можно, пожалуй, лишь если спустить на землю корову из Млечного Пути.

Так как народ, живя здесь, привык к мысли, что опасно иметь дело с дрожжами,[77] то не услышишь даже слова „тесто“. Если бы собрать из колодезной воды, которую мы пьем, все количество квасцов и селитры, то хватило бы не только для Египетского рынка[78] в Стамбуле, но и на несколько столетий для всех пороховых заводов Каира. Когда-то мы, для удаления горечи во рту после водки, пили воду, а теперь, наоборот, приходится, чтобы избавиться от горечи после воды, пить водку.

Что здесь замечательно, так это змеи, разукрашенные, пожалуй, богаче, чем наши правители, и ядовитые, как вероломные друзья. Еще приятель моего отца Эмин-бей принимал ящериц за крокодилов, я же, несмотря на их величину, страшную внешность и способность перегибаться при виде человека, открывая пасть до ушей, и появляться, когда гонишь их с одного места на другое, невольно думаю, что передо мной находится много Ластик Саидов.[79] Кроме того, здесь много ворон и сов, даже больше, чем евнухов в гаремах. При этом совы здесь более зловещи, чем дворцовые слуги, сообщающие о беде.

По сравнению со всеми этими пытками комары представляют здесь только музыкальный „саз“, а здешних москитов можно принять за вестников приятных новостей.

Что касается ископаемых богатств, так слов нет… Куда ни взглянешь, груды камней, напоминающих окаменевшие сердца тиранов; даже самые маленькие из них в деле причинения человеку мучений не уступают палачу. Эти милые создания днем притягивают зной, а вечером веют им в лицо человека так, что кажется, будто это дыхание ада. Ночью на них оседает сырость,

отлагающаяся утром на человеческом теле в таком обилии, что кажется, будто на тебя выжимают губку величиной с облако. Частицы земли носятся по ветру и впиваются в глаза, как каленое железо.

Если я вас еще не утомил, то хочу рассказать о той пытке, которая, будучи давно проклята и уничтожена в Европе, по прежнему применяется падишахом, иначе говоря – о жизни ссыльных.

Наш город прославился своими ссыльными. Известный своими теологическими познаниями и преданностью религии шейх Ахмед, который вначале был приговорен к смерти, а позднее терпел тяжелые пытки и мучения, находится здесь. Люди из племени Баби, выдающие себя за святых, за пророков, а иногда и за бога, – тоже здесь. Известный Катырджы-Яни, который в свое время захватил Смирну и, вместе с тем, оказал больше добра своим землякам-крестьянам, чем наши чиновники, – тоже здесь. Ваш знакомец Кемаль – тоже здесь. Кроме того, среди нас находится несколько убийц и других преступников. Хотя существует может быть некоторая разница в нашем положении и профессии, но когда я смотрю на членов нашего сообщества с точки зрения совершенных ими преступлений, то я сравниваю приказы падишаха со смертными приговорами. Если к кому-нибудь хотят придраться, то уже не смотрят ни на что.

Что же касается нашего самочувствия, то рассказывают, что его преподобие шейх-эфенди так привык к борьбе за веру, так увлечен духовными делами, что постигшее несчастье нисколько его не трогает. Он только очень интересуется узнать причину, почему он приговорен к заточению в крепости. Говорят, что он готов еще 25 лет учиться, пожертвовав своим зрением, для того, чтобы постичь это. Должно быть это государственная тайна. Преступники сами не знают, за что они несут наказания.

Бабийцы получают жалованье даже больше, чем чиновники, кушают, пьют, гуляют и, чтобы отблагодарить султана, работают над расчленением империи. Не теряя ни минуты, они молятся святому Али о ее гибели.

Так как я не имел еще разговоров с бандитами и убийцами, не вник пока в дела Катырджи-Яни и других, то я могу только передать слух, дошедший до меня, что

среди них имеется шпион, по имени Истельянус, который шпионил в пользу России, затем в пользу Сербии и, наконец, пытался устроить восстание в Болгарии. Он был арестован в Тырнове и сослан сюда. И вот такой тип, как Истельянус, оказывается, является больше всех нас достойным милосердия, ибо он был досрочно выпущен.

Мною чуть не овладел эгоизм, и я уже хотел писать о себе, забыв еще одну историю. Бежавшая, в связи с голодом, из Бенгази часть бедноты была направлена сюда. Здесь в течение пяти лет они не могут получить никакого урожая от своих посевов. Они все же находят мужество оставаться в этой обширной пустыне. Таким образом, сюда посылают людей, покинувших из-за голода родину, для того, чтобы они не отвыкли голодать. До таких вещей даже сам шайтан легко не додумается.

Теперь о себе.

Оказывается, я уже не такой несчастный, как шейх Ахмед, так как я узнал причину своей ссылки. Признаюсь, что я заслуживаю такое наказание. Как это я, видя на сцене столько ходких балаганных представлений, осмелился сам создать трагедию? В тот момент, когда уже доказано на целом ряде примеров, что крепости не имеют большего значения, чем двухаршинный забор, я вдруг, для иллюстрации героизма и подвигов невежд, защищавших крепость Силистрию, написал целую пьесу. Откровенно говоря, за такое крупное преступление я заслуживаю не крепости, а смертной казни.

В сущности говоря, я не возражаю против наказания, но задумываюсь над тем, как оно приводится в исполнение.

Во-первых, когда нас посадили после ареста в общую тюрьму, нам не позволили общаться друг с другом, а потом на пароходе мы ехали все вместе. Вероятно, если бы в тюрьме пять человек находились вместе, они убежали бы и перевернули вверх дном Стамбул. Или же по закону полагается, что преступники в Стамбуле содержатся в одиночках, а в провинции – вместе. Всего этого я никак не могу понять.

Во-вторых, после отплытия из Стамбула мы три дня сидели в Чанак-кале под арестом на пароходе. Оказалось, что мы ждали специального парохода. Не знаю, к чему вся эта торжественость? „Немче“ заходит на

Родос и на Кипр. Если бы нас отправили этим пароходом, то казна сэкономила бы 350 лир.

Как я могу думать о таких глупостях? Разве правительство может доверить нас немецкому пароходу. Мы ведь сильнее известного борца Залоглу, сильнее европейских пушек, броненосцев и прусской армии. Мы вероятно раздавили бы, как муравьев, начальника нашей охраны с его десятком вооруженных солдат и со всеми пассажирами. Мы овладели бы пароходом. Что из того, что для управления нужен капитан; разве мы хуже умеем управлять, чем Мемед Али-паша, Кеди Махмуд-паша, Кайсерли-паша? Если они в состоянии были в течение долгих лет управлять морским министерством, неужели мы не сможем справиться с одним пароходом.

В-третьих, я убеждаюсь в правильности отправки нас специальным пароходом. Меня только удивляет, как это флот его величества, который, судя по нашим газетным статьям, является первым в мире, с таким трудом отыскал для нас один пароход. Очевидно, в это время он воевал где-то вне пространства.

В-четвертых, когда мы отплывали из Стамбула, мне сказали, что я направляюсь в Левкозию, но когда я прибыл на Родос, то оказалось, что меня должны заточить в Магозскую крепость. Таким образом, очевидно, что, пока я плыл от Стамбула до Родоса, я успел совершить еще какое-то новое преступление. Об этом, повидимому, было сообщено по телеграфу, и мне увеличили наказание.

Правда, я помню прекрасно, что на пароходе я гулял, раздевался, одевался, спал, просыпался, разговаривал со своими товарищами (впрочем весьма осторожно, так как кругом были полицейские, и лишнего говорить не следовало); раза два меня тошнило; как-то ночью я стонал во сне. Если бы я знал, какое из этих крупных преступлений послужило причиной усиления наказания, – я был бы доволен.

За день до прибытия на Кипр, т. е. на третий день после отплытия из Родоса, я узнал, что заточение в крепости будет заменено содержанием в военной казарме. Значит, пока я ехал от Родоса до Кипра, я совершил еще более серьезное преступление, чем в Стамбуле и чем между Стамбулом и Родосом. Что же это за преступление? Как же все-таки в Стамбуле узнали о нем; ведь в море нет телеграфа?

В Родосе я виделся с начальником округа и судьей; они показали мне газету, в которой я прочел, что причиной моей ссылки является „Силистрия“. В ней было также написано, что это мероприятие султанского правительства соответствует тому, что применяется в европейских государствах и что в Европе может быть карают в таких случаях еще более сурово. Прочитав это, я узнал то, чего не встречал ни в одной книге, несмотря на свое пребывание в течение трех с половиной лет в Европе, из которых значительную часть посвятил изучению юридических наук.

По прибытии сюда узнал еще одну новость: султанское правительство лишило меня титула бея. До сих пор я думал, что этот титул принадлежит мне потому, что я происхожу из рода, в котором насчитывался один владетельный князь, два великих визиря, семь или восемь визирей и пятьдесят или шестьдесят государственных деятелей. Оказывается, титул бея является просто милостью его величества, причем султан в любое время может у меня отнять его.

Однако, я думаю, что меня знают больше по имени, чем как бея. С упразднением титула я получил от народа другой: „преданный родине“, что для меня гораздо важнее.

Как видно из приказа, я выслан сюда для исправления. Да простит аллах того, кто был причиной этого. Величественное правосудие так и должно поступать с такими разбойниками, как я, заставляя их молчать…»

Письма из Магозской тюрьмы – характернейшие произведения Кемаля. Несмотря на трагическое положение их автора, они дышат бодростью. Брошенный почти в могилу, чувствуя вокруг себя дыхание смерти, Намык не сдается. Он верит, что ему удастся выбраться отсюда, вернуться в Стамбул, продолжать начатую борьбу. Лишенный всего, поставленный в ужасные жизненные условия, он меньше всего склонен ныть. Его собственные невзгоды являются для него лишь объектом тонкой и блестящей иронии, как это мы видим из его писем. Свое собственное существование он давно уже всецело посвятил делу. Как фанатик, он равнодушно относится ко всем лишениям. «В конце концов, – пишет он в одном письме, – я не вижу разницы между своим жилищем в Магозе и номерами лондонских или парижских гостиниц».

Его бывшие соратники из числа тех, кто лестью и раболепством сумел отвести от своей головы грозу, передают ему, что «падишах попрежнему к нему благосклонен». В своих письмах он зло вышучивает эту «благосклонность». Но все это мимоходом. Главное, о чем он пишет, это произвол и беззаконие, царящие во всей стране, это ужасная жизнь бедняков, которых он видит вокруг себя. Здесь его юмор звучит трагически. Когда он говорит: «Магоза – миниатюрная фотография Оттоманской империи», – он не преувеличивает, ибо повсюду в Турции беднота живет так, как магозское население. Описывая творящиеся вокруг него злоупотребления чиновников и воровство поставщиков, он надеется, что его письма обратят внимание на это зло и пробудят общественное негодование.

Действительно, его голос, звучащий из далекой Магозы, находит отклик среди молодежи и передовых людей его поколения. То, что не может быть напечатано, расходится в сотнях рукописных списков и читается как нелегальные прокламации. Несмотря на то, что он как бы вырван из жизни, его связь с передовыми элементами общества не порывается, а все более и более крепнет. Та деятельность, которую он развивает в Магозе посредством своих писем и статей, сыграла большую роль в событиях, которые произошли в Турции несколько лет спустя.

Но помимо всего этого, есть еще одна любопытная черта в его письмах, а именно их форма. Мы видим, что борющийся со старой литературой, проповедующий превосходство западных образцов Кемаль в своих письмах не может еще отрешиться от классических художественных форм Востока. Каждая его фраза полна тех аллегорий и уподоблений, знаменитых «тешпих», которые являлись необходимейшим аксессуаром и характернейшим элементом старой литературы.

Это – расплата за слишком глубокое изучение, начатое в раннем детстве всех этих Недимов, Бакы, Неф'и, которые веками довлели над османской литературой. И быть может, когда Кемаль поднял ожесточенную борьбу против классиков, это было отчасти подсказано его собственным печальным опытом, бессилием отделаться в своих произведениях от рокового влияния.

Кемаль обладал поразительной прозорливостью. Полвека спустя, когда турецкая литература получила наконец возможность развиваться нормальным путем, литературные критики, признавая всю громадную заслугу Кемаля в деле обновления турецкой литературы, вынуждены сказать, что художественные произведения великого писателя устарели и кажутся скучными именно из-за обилия классических литературных приемов, против которых он столько боролся и от

которых сам был не в состоянии избавиться.

Живой и интересной еще и для нынешних поколений оказалась лишь его публицистика, где эти приемы не так дают себя чувствовать.[80] Письма из Магозы относятся к этой последней категории. В них, правда, как мы видели выше, метафоры и аллегории играют заметную роль, но их жизненность, простота, а главное интересность сюжета заставляют забыть об этих недостатках.

Намык Кемаль был еще в Магозе, когда получил от своего ученика и друга Риджаизаде Экрема сделанный этим последним перевод книги Сильвио Пеллико «Мои тюрьмы». Это произведение тем сильнее его заинтересовало, что он сам был в заточении и мог сравнивать переживания итальянского автора со своими собственными.

На эту книгу им была написана критика, часть которой посвящена технике перевода, другая же описывала магозскую жизнь самого Кемаля. В ней были переработаны и объединены наиболее интересные письма Кемаля из Магозы. Напечатана она смогла быть лишь в 1908 году, после младотурецкой революции. Кемаль озаглавил ее точно так же, как и Сильвио Пеллико, – «Мои тюрьмы».

Хотя Магоза была лишь первой тюрьмой Кемаля, но название оказалось пророческим. В своей жизни ему пришлось еще не раз изведать «благоволение» падишаха.

Намык Кемаль оставался в Магозе 38 месяцев. Никакие ходатайства за него перед султаном не помогали. Злопамятный Абдул-Азис был не из тех людей, которых можно было смягчить. Он, напротив, с нетерпением ждал, когда злокачественная лихорадка Магозы сделает свое дело и ему сообщат о смерти ненавистного человека. Султан негодовал, что его рассчеты осуществляются так медленно. Намык Кемаль хворал, здоровье его разрушалось, но его энергия не была сломлена. Он не просил ни о милости, ни о пощаде, а наоборот, продолжал неустанно готовить себя к новой борьбе.

Впоследствии он рассказывал своему сыну Экрему:

– Когда меня привезли в Магозу, меня поместили в арестное солдатское помещение. Это был настоящий кладбищенский склеп. В это подземелье, выдолбленное в скале и сырое как колодец, вели десять ступеней. Внутри была темнота, грязь и такая теснота, что поместиться там мог лишь один человек. Коротко говоря, это была настоящая могила. Там меня держали три дня, и знаешь, сынок, чем я был занят в это время? Я сочинял в уме свою пьесу «Акыф-бей». Как только меня перевели в немного лучшее помещение, которое тоже было похоже на гроб, я

немедленно потребовал перо. Я тотчас же принялся писать пьесу и послал ее в Стамбул. Вот, мое дитя, как поступают заключенные и ссыльные, как они работают. Для них всякое место – отечество. Ссылка – тоже отечество; могила – также уголок отечества.

В Магозе были написаны самые крупные литературные произведения Кемаля: пьесы «Акыф-бей», «Гюльнихаль», «Несчастный ребенок», его сильнейшие критические статьи, а также многие стихи и поэмы.

Лишь редкие книги из его любимой библиотеки, библиотеки, с которой он потом не расставался до конца жизни, непрестанно пополняя ее по мере возможности и средств, были здесь с ним. Но ему служила его изумительная память. Когда для своих критических статей или писем ему необходимы были цитаты, он безошибочно приводил их по памяти. В одиночестве магозской тюрьмы его любимейшим развлечением было чтение на память бесчисленных стихов старых турецких, иранских и арабских поэтов, а также поэмы Виктора Гюго и других.

Ничто не могло сломить его духа и угасить его темперамент борца, хотя в Магозе ему пришлось пережить много тяжелого, помимо самого заключения.

Будучи в активной переписке с друзьями, находившимися на свободе, он ясно представлял себе, как все более и более усиливается удушливая атмосфера реакции в стране. Нигде не было видно даже намека на просвет. Многие из друзей, отчаявшись или устав от борьбы, отошли от нее или стали ренегатами.

Великий Шинаси, который оказал такое решающее влияние на всю жизнь Кемаля, умер два года тому назад. Но еще до его смерти их стала разделять непроходимая пропасть. Это отчуждение было тем более тяжелым, что оно казалось каким-то недоразумением. Шинаси, страстный проповедник борьбы, вырастивший и поднявший целое поколение борцов, непонятным образом отгородил себя непроницаемой стеной своего маньячества от активной жизни. О возобновлении политической деятельности он не хотел и слышать. Когда по возвращении из эмиграции его спросили в Стамбуле, что делают за границей Кемаль и Зия, он иронически ответил: «они в Лондоне видят сны», намекая на написанные ими политические памфлеты, о которых мы упоминали выше.

Живя в Париже и лихорадочно работая над своим словарем, ставшим единственной целью и смыслом его жизни, он не предпринимал никаких шагов, чтобы получить прощение и добиться возвращения на родину. Разрешение вернуться выхлопотала ему его жена, Навиктер-ханым, жившая в

одиночестве с малолетним сыном в Стамбуле. Перед поездкой Абдул-Азиса в Европу она обратилась с просьбой об этом к сопровождавшему султана министру иностранных дел Фуад-паше и добилась своего. Но странное дело.

первым шагом Шинаси, как только он вернулся в Стамбул, было развестись с женой, как-будто он досадовал на нее за это ходатайство и спешил разорвать последние узы, связывавшие его с той жизнью, которой жили все другие люди.

Пробыв в Стамбуле всего пять дней, он вновь уехал в Париж к своей работе над словарем, к которой был теперь прикован, как каторжник к тачке, Причиной его поспешного отъезда в Париж были настояния Фуад-паши, чтобы он принял пост губернатора Смирны. Это было назначение, о котором крупнейшие чиновники тщетно мечтали всю свою жизнь. Оно приносило дохода свыше 10 тыс. лир в год, т. е. целое состояние по тому времени, а Шинаси нуждался в самом необходимом. Но принять назначение – значило отказаться от работы всей его жизни, работы, которая подвигалась вперед с ужасающей медленностью. Словарь, над которым ему пришлось работать почти одному, дошел лишь до семнадцатой буквы. И то было написано четырнадцать томов, по тысяче страниц в каждом. И Шинаси вновь с болезненной спешкой набрасывается на работу.

Началась франко-прусская война. Парижу угрожала осада. Оставаться там было опасно; кроме того, ему не хотелось встречаться с членами Общества новых османцев, вернувшимися в это время в Париж, и Шинаси решил ехать на родину. На этот раз он надеется, что его не будут понуждать к принятию какой-либо должности в провинции. Фуад-паша, настаивавший на его назначении в Смирну, умер за год перед тем.

Вернувшись в Стамбул, Шинаси снял поблизости от дворца Высокой Порты небольшой домик, в котором устроил типографию и свое личное помещение.

Это было мрачное жилище. Он жил в большой, совершенно пустой комнате, где была лишь кровать, стол и полки для книг. Зимой в ней было холодно и сыро. Когда Эбуззия-Тефик однажды навестил его, то не на чем было даже сидеть, и Шинаси, подогнув одеяло, предложил гостю сесть на кровать. Посредине комнаты стоял глиняный мангал[81] с потухшими углями; комнату освещала догоравшая свеча, поставленная в жестяной подсвечник. Так жил человек, отказавшийся от поста смирнского губернатора.

Словарь, словарь… Шинаси не мог больше ни о чем думать. То он пишет статью за статьей для своего детища, то, одевши блузу, сам набирает в типографии гранки.

От бессонных ночей, от бешеной работы Шинаси буквально

тает. Ему всего сорок пять лет, но это почти старик. Друзья, близкие убеждают его отдохнуть; он не слушается, отмахивается от их советов и настояний, как от надоедливой мухи. Мустафа Фазыл-паша приглашает его переехать к нему в Чамлиджу – великолепный дворец в прекрасной сосновой роще на азиатском берегу Босфора, но он решительно отказывается. Нельзя терять ни минуты времени. И Шинаси работает, работает, пока не сваливается. Короткая болезнь и смерть, так закончилась жизнь этого крупнейшего деятеля эпохи Танзимата.

17 сентября 1871 года небольшой круг друзей проводил на кладбище родоначальника современной турецкой литературы.

Из двух самых близких друзей, учителей Кемаля, Шинаси – в могиле, а Зия… увы, Зия завершает свое ренегатство. Пока Кемаль заживо гниет в сырых стенах Магозы, Зия самым отвратительным низкопоклонничеством тщетно старается вернуть себе былую милость султана. Вот уж несколько лет, как весь талант свой он тратит на сочинение од, выражающих самую грубую лесть.

Чтобы заслужить расположение двора, он предпринимает издание сборника, в котором должны быть представлены все старые, любимые двором восточные поэты.

Он включает сюда и новых сановных писак и все те бездарные хвалебные оды, в которых Абдул-Азис превозносится до небес и в которых, в бесчисленных вариантах, повторялись слова, сказанные недавно шейх-уль-исламом в его речи по поводу учреждения Государственного совета: «Наш падишах своими деяниями превзошел все добродетели и все совершенства своих предшественников».

Этот сборник, состоявший из трех томов, со стихотворным предисловием самого Зии, действительно вызвал ликование всего реакционного лагеря, хотя и не дал того результата, которого ожидал Зия. Падишах не сменил гнев на милость.

Великий Зия, чей талант не смели отрицать даже его враги, Зия, в течение многих лет проповедывавший обновление турецкой литературы, переводивший на турецкий язык европейских классиков, активный член Общества новых османцев, сейчас открыто становился на сторону старого течения. В его сборниках нашла место вся старая анакреонтическая и мистическая рухлядь иранской, арабской, джагатайской и османской поэзии, и не было ни одного произведения новых прогрессивных авторов. Даже их ранние стихи, написанные в старом классическом стиле, были исключены из сборника. Это было понятно: ведь одно их имя могло вызвать недовольство дворца.

Ни Эшреф-паша, ни Риджаизаде Экрем, ни тем более Кемаль не нашли места в сборнике, не без задней мысли, дабы попасть в тон легкомысленной и пустой жизни двора, игриво названном «Харабат».[82]

«Харабат»

В одну из минут под хмельком
Я назвал его «кабачком».
Скажи я «мечеть» – и всяк бы дивился.
Ведь мало кто из поэтов там находился.

ЗИЯ-ШАХ (Предисловие к «Харабату»)

Для узника Магозской крепости почта была редкой, с нетерпением ожидаемой, радостью. Приходили вести издалека, из мира, где жили друзья, близкие, семья. Отец писал о своих делах, о безуспешных хлопотах, которые он предпринимал, чтобы вернуть сына, о здоровье семьи, о маленьких детях Кемаля. Друзья сообщали о политических и литературных новостях, присылали вновь вышедшие из печати книги, газеты.

В своем одиночестве Кемаль жадно перечитывал по много раз послания, набрасывался на книги, и тотчас же сам принимался писать, откликаясь на каждую строчку, на сообщенное ему событие. В эти минуты он чувствовал себя далеко от этих мрачных сырых крепостных стен, от унылого нагромождения могильных камней, от нездоровых, лихорадочных туманов, каждый вечер поднимавшихся над гнилыми болотами Кипра. Ему казалось, что он опять в кругу своих друзей и близких. Чтение и писание писем перевоплощалось в живую беседу. Мыслями он снова был в узких, наполненных народом комнатах «Ибрет», в горячих спорах с товарищами. Он так увлекался, что не скоро приходил в себя, когда посещение жандармов или новое неприятное распоряжение начальства крепости возвращало его к действительности.

Первый томик «Харабата», вышедший в 1874 году, он получил от кого-то из друзей с одним из почтовых пароходов. Сначала он жадно набросился на книжку, перелистывая одну за другой страницы, но скоро интерес сменился недоумением, затем гневом.

Как! Это тот Зия, перед талантом и авторитетом которого он преклонялся, с которым делил радости и горести, все невзгоды эмигрантской жизни, в которого ему все еще хотелось верить, несмотря на охлаждение их отношений после Лондона, – теперь поклонялся всему тому, что когда-то сжигал, и сжигал все то,

чему когда-то поклонялся. Для Намык Кемаля это было ужасным ударом. Ему представлялось, каково должно было быть ликование всех этих старых пашей и шейхов, «чалмоносцев» и «староголовых», дворцовых лизоблюдов, мнивших себя единственными авторитетами в литературе, употреблявших все усилия, чтобы задушить начавшееся в ней движение за обновление. И каково отчаяние всех его друзей и учеников, которые видели в новой литературе мощное орудие обновления и спасения страны.

«На том месте, где должно было возвышаться стройное здание новой литературы, Зия воздвигает питейное заведение», – негодует Кемаль в одном из своих посланий.

Нужно ослабить этот эффект. Ударить по ренегату так, чтобы все поняли, что Зия – еще не вся турецкая литература, что его измена не способна повернуть назад колесо истории. Надо было немедленно скрестить оружие с этим новым врагом, нанесшим удар в спину тем, кто и так задыхался в беспросветном мраке реакции. И Намык Кемаль хватается за перо. Пусть он сам бессильный пленник, не знающий, удастся ли ему выйти живым из своего заточения, но его слово прозвучит на всю страну, и вся молодая Турция поймет, что «Харабат» не есть еще могильная плита над новой турецкой литературой.

Не падать духом! За работу! И без передышки, днями и ночами, в своей мрачной сырой комнатушке Намык Кемаль пишет критику на сборник Зия, озаглавив ее «Развалившийся кабачок».

Противники Кемаля распускали слухи, что единственной причиной его резкого выступления против Зии было то, что ни Кемаль, ни его друзья не фигурировали в «Харабате». Это была злостная клевета. Кемаль был человеком, которого менее всего трогали мелкие личные уколы и обиды. Он писал своим друзьям: «я понимаю, что Зия не мог поместить в „Харабате“ стихов автора, сидящего в Магозе. Прекрасно известно, что, будучи человеком, заживо похороненным на этом кладбище, я не мог огорчаться, что меня по этой причине не включили в „Харабат“ или не удостоили в нем похвал». О настоящей причине его гнева уже было сказано выше. Все его письма ясно подтверждают это.

Как и ожидал Кемаль, «Харабат» Зии послужил сигналом для других. Многие стамбульские газеты, еще недавно афишировавшие свое передовое направление, начали усиленно печатать старую поэзию. Почти все молчат, и только из далекой Магозы слышится энергичный голос протеста:

«Вместо того, – пишет Кемаль в одном из своих посланий, – чтобы говорить себе: мы служим литературе, печатая вещи, которые уже давным-давно обветшали, злоупотребляя

метафорами, далекими от жизни и природы, гораздо лучше переводить западных литераторов и поэтов, произведения которых являются разумным и осмысленным искусством».

Напечатанное в одном из изданий это послание подняло бурю. На Кемаля посыпались обвинения в невежестве, вероотступничестве, западничестве, но это его не смущает. И все годы, проведенные в Магозе, он продолжает всю ту же энергичную борьбу.

Мидхат-паша

Чтобы делать великие ошибки,
надо быть великим человеком.

НАМЫК КЕМАЛЬ

В то время, как Намык Кемаль, томясь в заточении в Магозе, не падал духом и ни на минуту не покидал мысли о борьбе, над Турцией вновь сгущались черные тучи.

Европейская опека, которой оттоманский абсолютизм с таким легким сердцем вручил страну, радуясь, что с помощью опекунов он может продолжать игнорировать недовольство и возмущение народа, начала давать свои плоды. Вот уже много лет, как государственный бюджет сводился с дефицитом в несколько миллионов золотых лир. Обычными ресурсами для заполнения этой прорехи стали иностранные займы. Предоставляемые на высоких процентах и других тяжелых условиях, эти займы вскоре стали настоящим бедствием. Внешний долг Оттоманской империи, достигавший при вступлении на престол Абдул-Азиса десяти миллионов золотых лир, к 1876 году возрос до двухсот миллионов. На погашение одних процентов стала уходить большая часть бюджетных поступлений.

С другой стороны, под предлогом гарантии этих займов, иностранные капиталисты взяли под свой контроль, к громадному ущербу для страны, наиболее важные источники ее доходов. Чем дальше, тем хуже становилось положение. Вечно в поисках наличных денег, чтобы удовлетворить дорого стоящие прихоти двора и погашать наиболее неотложные долги, правительство стало прибегать к займам у галатских банкиров, которые обращались со своим правительством, как с разорившимся помещиком, и брали с него ростовщические проценты. Так, во время кратковременного министерства Ширвани-заде Рюштю-паши эти проценты достигали 18 годовых. В последние годы царствования Абдул-Азиса казначейство выплачивало 14 миллионов золотых лир только европейским кредиторам, при общем государственном бюджете, немногим превышавшем 20 миллионов.

Деревня была разорена вконец. Она была в руках бесчисленного количества мелких пиявок-ростовщиков, которые давали крестьянам ссуды из 50—100 процентов. Тяжело было положение и торговли в городах. Более или менее сносное существование вели лишь торговцы из «райи», принявшие

иностранное подданство и пользовавшиеся благами капитуляций. Чиновникам и офицерам жалованье не платилось по месяцам. Армия вела голодное существование и роптала. Толпы нищих и бродяг стекались в Стамбул, и настроение против богатых кварталов Пера, где жила европейская и вообще христианская буржуазия Стамбула, стало настолько угрожающим, что уже носились слухи о предстоящем погроме.

Глухое брожение распространяется все дальше и дальше. Оно доходит до масс, до низов, делает бунтовщиками самых забитых и покорных, грозит вылиться в настоящую народную революцию, которой либеральные помещики, обеспеченное чиновничество и требующее реформ купечество боятся не меньше, чем сам абсолютизм.

Теперь из этих кругов по адресу двора несутся проклятия, главным образом, за то, что своей безумной политикой бесстыдного грабежа, игнорирования интересов страны и покровительства хищническому хозяйничанию иностранцев вкупе с левантийскими компрадорами султан и его камарилья на всех парах ведут Турцию к всенародному взрыву.

Единственным спасением от страшного призрака выступления «черни» может быть лишь попытка открыть предохранительный клапан, т. е. ограничить самодержавный режим, дать конституцию сверху.

Абдул-Азис и его клика не видят опасности. Они судят о настроениях страны по раболепию простирающейся ниц толпы дворцовых евнухов и не замечают подозрительных, ведущих страстные разговоры в переулках, плохо одетых софта, раздражительно-насмешливых выкриков хамалов по адресу проезжающих мимо них щегольских экипажей и вызывающе-громкого стука молотков рабочих арсенала.

С благоразумными советниками, говорящими султану о необходимости смягчения режима, поступают как с крамольниками: их ссылают, отрешают от должностей. И вот с каждым днем все более растет лагерь либеральной оппозиции, и все громче слышатся разговоры о необходимости устранения падишаха, ведущего страну к гибели и революции.

В этих условиях на гребень оппозиционной волны был вынесен человек, организационные способности, кипучая энергия и твердые либеральные убеждения которого сделали его общепризнанным вождем движения. Это был Мидхат-паша, крупнейшая фигура второго периода Танзимата, тот самый, с которым Кемаль и Зия тайно совещались в апреле 1867 года, за несколько дней до их бегства за границу.

Мидхат-паша родился в 1822 году в Стамбуле. Получив лишь

первоначальное образование, он был принят восемнадцатилетним юношей на службу в Секретариат великого визиря Решид-паши. Это был один из наиболее выдающихся птенцов гнезда «великого Решида».

Незаурядные способности молодого Мидхата быстро обратили на себя внимание Решида, неутомимо выращивавшего и выдвигавшего те кадры, которые должны были осуществлять предпринятые им реформы. В двадцать лет Мидхат занимал уже крупные чиновничьи посты в провинциальных управлениях в Конии и Дамаске. В двадцать девять лет он назначается первым секретарем Высшего государственного совета. Посланный за границу, он побывал в Париже, Лондоне, Вене, и Брюсселе, где изучал европейскую систему администрации и проникся западными идеями.

Ему доверяют наиболее ответственные поручения, когда в той или иной провинции, в результате грабежа и самоуправства местных властей, возникают брожения и волнения. Не смущаясь тем, что местные правители имеют высокие связи и в будущем становятся сами великими визирями и первыми сановниками империи, он бесстрашно обвиняет их во взяточничестве, требует их отстранения, накладывает «вето» на их распоряжения.

Несколько позже его самого назначают губернатором в крупные провинции. Его могущественные враги стараются посылать его на наиболее трудные посты, надеясь, что он сломает себе там шею, но каждое новое назначение заканчивается для него триумфом. Там, где до него его предшественники ничего не могли поделать жесточайшими репрессиями, он легко достигает нужного путем мирного сотрудничества с местным населением. Вся его деятельность характеризуется стремлением создать благоприятные условия для развития капиталистических отношений.

Мидхат-паша.

На Балканах ему приходится иметь дело с серьезным движением славянских народностей, революционную борьбу которых против турецкого феодализма стремятся использовать в своих интересах русский и австрийский империализм.

Болгары массами эмигрируют в фактически уже независимую Сербию.

Для Мидхата ясно, что причиной бегства является страшный разбой, царящий в стране, грабительские поборы чиновников и откупщиков налогов, отсутствие дорог; все вместе взятое тормозит экономическое развитие страны.

Вместо применения жестоких репрессий, как это делали его предшественники, он налаживает контакт с населением, собирает нотаблей различных районов на совещания, проводит дороги, создает пароходную компанию на Дунае, отменяет принудительные работы населения, организует милицию из местных жителей, в результате чего в области воцаряется спокойствие, и эмигранты возвращаются в покинутые села и города.

В Прицеренде ему удается путем уговоров добиться отказа албанского горского населения от обычая кровавой мести и от традиционного ношения оружия. Он первый в управляемых им провинциях проводит новый закон о вилайетах,[83] являвшийся одной из серьезнейших административных реформ шестидесятых годов, в создании которой он принимал непосредственное участие. За несколько лет его управления в Болгарии было построено 3 тыс. километров дорог и 1400 мостов. Был создан ряд местных банков, чтобы ослабить ростовщичество, которое

разоряло земледельцев.

Значительные улучшения были внесены в дело взимания налогов.

Провинция начала возрождаться, а, с другой стороны, увеличились и бюджетные поступления, что было особенно осязательно для Стамбула, всегда нуждавшегося в деньгах.

Успехи молодого губернатора были несомненны. Даже султан и Высокая Порта не могли этого не признать и вынуждены были поздравить Мидхата. Мидхату удалось на практике доказать, насколько были важны все эти реформы, и в результате, императорским ираде (указ), было предложено всем генерал-губернаторам провинций ввести те реформы, которые так удались Мидхату в Дунайском вилайете. Реноме Мидхата теперь так высоко, что, несмотря на сильное недовольство реакционеров его прогрессивными взглядами, которых он не скрывает, ему поручают самые деликатные миссии, назначают губернатором в наиболее «трудные» области. Так в 1861 году, когда вспыхнули беспорядки в Нише (Болгария), Мидхат был немедленно назначен губернатором этой важнейшей провинции, с титулом визиря.

Но дальнейшей его деятельности на Балканах был положен предел. Граф Игнатьев давно уже с неудовольствием смотрел на прогрессивного губернатора, чья деятельность в славянских княжествах приводила к успокоению и срывала таким образом панславистскую[84] провокационную работу русских агентов.

Конфликт разразился по следующему поводу. Мидхату не трудно было обнаружить, что одним из успешных методов работы русских агентов было привлечение болгарской и вообще балканской молодежи в гимназии и университеты Одессы, Киева и Харькова. По возвращении на родину эта молодежь являлась великолепным проводником панславистских идей и русского влияния. Бороться с этим можно было лишь открытием школ и учебных заведений повышенного типа в главных болгарских центрах, дабы болгарская молодежь могла получать там современное образование совместно с турецкой.

Характерной чертой Мидхата было то, что исполнение у него быстро следовало за решением. Он немедленно открыл в ряде городов Болгарии эти учебные заведения и представил обширный проект правительству, в котором предлагал расширить эту сеть. Средства на это должны были быть отчасти получены из излишков налоговых поступлений, а частью из добровольных сборов самого населения.

Как только этот доклад получили в Стамбуле, Игнатьев, бывший в курсе абсолютно всего, что происходило во внутреннем управлении страны, немедленно понял его значение и поспешил

вмешаться. В то время оттоманское правительство уже так привыкло к вмешательству иностранных держав во внутренние дела империи, что в этом не видели ничего странного.

Надо отдать справедливость дипломатической ловкости Игнатьева. Он знал слабую сторону Абдул-Азиса, все заботы которого сводились к поддержанию своей неограниченной самодержавной власти. Поэтому Игнатьев начал доказывать султану, что реформы, предпринятые Мидхатом, а в особенности организация местного самоуправления, в виде провинциальных и городских советов, была в корне противна, абсолютизму и что следствием их будет стремление к независимости различных национальностей, как это было в Египте. Пустой случай сослужил прекрасную службу Игнатьеву: в одном из распоряжений, напечатанных в «Дунайских официальных ведомостях», по ошибке типографии проскользнуло слово «депутаты» в отношении членов высшего административного совета провинции. Этого было достаточно, чтобы Абдул-Азис наложил свое вето на все проекты Мидхата под предлогом бюджетной экономии.

Так рухнули все планы новых крупных реформ в Болгарии.

Чтобы еще больше скомпрометировать Мидхата и усилить дипломатический нажим, идущий из Стамбула, было дано распоряжение бухарестским и кишиневским панславистским комитетам подготовить «инцидент». Многочисленные банды комитаджей[85] весной 1867 года произвели резню мусульманского населения близь Систова, причем было зверски убито несколько турецких детей в возрасте 8—12 лет. Целью этой резни было желание вызвать ответные репрессии турецкого населения, что дало бы возможность поднять по всей Европе крик о турецких зверствах. Но и такие инциденты Мидхату удавалось быстро ликвидировать. Он сам принимает участие в операциях против банд, стремительно подавляет широко задуманные заговоры и вводит спокойствие во вверенных ему областях, причем само население помогает ему.

Начинается настоящая дуэль между ним и Игнатьевым. Арест на австрийском пароходе в Рущуке крупной группы панславистов, оказавших упорное вооруженное сопротивление, вызывает большой шум. Не на шутку рассерженный Игнатьев настойчиво требует смещения Мидхата, но влияние этого последнего уже так прочно, что султан не решается подчиниться требованию всесильного посла. Тогда враги Мидхата пробуют избавиться от него другим путем. В Рущуке в него стреляют, но неудачно; через несколько месяцев какой-то серб устраивает новое покушение, но безуспешно. На дознании серб признается, что он действовал по

поручению двух крупных сербских сановников. В Стамбуле серба приговаривают к пожизненному заключению, несмотря на все попытки Игнатьева спасти его.

Через несколько месяцев Мидхата все же удалили с Дуная, назначив его генерал-губернатором Багдада.

В Багдаде Мидхата ждали новые затруднения. Рекрутский набор – совершенно новая вещь для независимых арабских кочевников – вызвал настоящее восстание. Военное командование, находившееся в вечных трениях с гражданскими властями, растерялось. Новый губернатор, не колеблясь, взял на себя всю ответственность, принял военное командование, занял кавалерией Багдад, а артиллерию и пехоту послал защищать консульства и христианские кварталы, которым угрожал погром со стороны фанатиков-арабов. Он разрушил мост через Тигр, чтобы отрезать сообщение между мятежниками, находившимися по обе стороны реки, после чего он предложил им полную амнистию при условии немедленной сдачи. Они приняли без спора предложенные условия.

Быстрота, с которой Мидхат ликвидировал эти серьезные беспорядки, была оценена правительством, которое назначило его командующим войсками области. Ему удалось нанести решительное поражение ряду арабских племен, восставших против турецкой администрации, но это не помешало ему понять, что дело умиротворения арабов заключалось не в применении грубой силы. Главной причиной всех этих восстаний и волнений, которыми пользовались начальники племен для утверждения своей феодальной власти, являлось то ужасное положение, в котором находился арабский земледелец. Он не только платил правительству аренду за возделываемую им землю, но отдавал ему еще в виде налогов три четверти добываемых продуктов. После этого единственным средством к существованию у него оставался вооруженный грабеж сел, городов и караванов. Мидхат понимал, что прежде всего необходимо утвердить право крестьянина на землю. Он разделил государственную землю на мелкие участки и пустил их в продажу по дешевой цене, препятствуя захвату больших количеств земли в одни руки. Эта была реформа в интересах зажиточного и кулацкого населения арабской деревни, но этим он выдвигал новую силу, противопоставляя ее феодальным помещикам.

И здесь, как и на Дунае, реформы Мидхата приносят плоды. Население успокаивается, уменьшаются грабежи, налоги начинают поступать в невиданных ранее размерах.

Мидхат предпринимает ирригационные работы, основывает оттоманские общества судоходства по Тигру и Евфрату, где

раньше все движение обслуживалось английской компанией, основывает угольные склады в Маскате, Адене, Бушире и Бендере. Благодаря ему, в первый раз с той поры, как открылся Суэцкий канал, пароходы под турецким флагом начинают совершать регулярные рейсы из Аравии в Стамбул.

Были восстановлены старые арабские каналы, благодаря которым Ирак был когда-то цветущим садом; значительные участки пустыни могли быть теперь использованы для земледелия. Между Багдадом и Киассимие была проведена линия трамвая в семь километров; в Багдаде была построена текстильная фабрика с усовершенствованными машинами. В каждом уезде были открыты школы, построены госпитали и убежища для инвалидов. Были основаны банки, открылась типография, стала издаваться газета. В крупных центрах были учреждены муниципалитеты.

Найденная в вилайете нефть была использована для общественных надобностей. Трудно описать все то, что было сделано Мидхатом в Аравии в течение нескольких лет. Благодаря поддержке городской буржуазии, он сумел привести к повиновению крупнейших феодалов, чья борьба с центральным правительством не только разоряла страну, но и являлась благоприятнейшей почвой для интриг европейских империалистов, подготовлявших отторжение от Турции этих богатейших областей и превращение их в свои колонии.

Надб было иметь большую дипломатическую тонкость Мидхата, чтобы предпринять покорение ваххабитов,[86] не слишком возбуждая неудовольствие Англии, поддерживавшей борьбу этого племени за независимость, дабы обратить их территорию в новый опорный пункт на пути в Индию.

Но осуществить в Аравии до конца все задуманные реформы ему не удалось. Со смертью Фуада и Али исчез последний тормоз, сдерживавший Абдул-Азиса. Несмотря на весь консерватизм этих двух министров, их политика всегда казалась султану слишком либеральной. Избавившись от их опеки, Абдул-Азис довел свои реакционные тенденции до высшей точки. В Махмуд Недиме он нашел раболепного визиря, готового потворствовать всем его безумствам. Султанская расточительность требовала все новых и новых средств. Мидхата заставили приостановить все его реформы. Все здание нового управления, построенное им с таким трудом и терпением, разрушалось. Он не счел возможным оставаться в этих условиях на своем посту и в 1873 году подал в отставку.

Вернувшись из Багдада, Мидхат был назначен губернатором в Адрианополь. Это была плохо замаскированная ссылка. Мидхат

воспользовался своим правом аудиенции у султана и нарисовал ему столь ужасную картину разложения империи, что это произвело впечатление даже на отупевшего от пьянства и дебошей Абдул-Азиса. Под первым впечатлением этой беседы султан отстранил Махмуд Недима и назначил Мидхата великим визирем.

Мидхат немедленно окружил себя наиболее прогрессивными и способными сотрудниками. Некоторые из них, как Ширван и Рюштю-паша, были близки к Обществу новых османцев в его доэмиграционный период. Первым шагом нового великого визиря была попытка упорядочить государственные финансы; тут он немедленно обнаружил, что его предшественник без церемонии черпал для своих нужд крупнейшие суммы из казны. Дело было передано в Государственный совет, и Мидхат потребовал у Махмуд Недима возвращения 100 тыс. золотых лир, взятых последним без всяких оправдательных документов.

Но это было роковым шагом для Мидхата. Если Махмуд Недим и клал крупные казенные суммы в свой карман, то большую их часть он передавал двору. Таким образом, возбужденное против него следствие являлось процессом против двора. Благодаря интригам партии матери султана и других, а в частности, графа Игнатьева, Махмуд Недим был возвращен из Трапезунда, куда выслал его Мидхат. Отказ Мидхата продолжать предоставлять за взятки, как это делалось раньше, различные льготы египетскому хедиву, а также его вмешательство в скандальные истории барона Гирша, концессионера строившихся тогда фракийских железных дорог, ускорили развязку. Контракт с Гиршем, чудовищно невыгодный для Турции, был подписан только потому, что железнодорожный барон не жалел золота. То обстоятельство, что самая крупная взятка была принята самим падишахом, не остановило Мидхата. Он решительно потребовал от султана возвращения полученных от Гирша сумм. Абдул-Азис подчинился, но тут же сместил своего великого визиря.

После короткой ссылки в Салоники в качестве генерал-губернатора Мидхат вновь вернулся в Стамбул, где дела шли все хуже и хуже и где правительство окончательно потеряло голову. В министерской чехарде смена кабинета следовала за сменой. Мехмед Рюштю-паша, Эссад-паша, либеральный Ширвани Рюштю-паша остаются на посту великого визиря по нескольку недель и исчезают со сцены, бессильные улучшить положение. Мидхат на несколько месяцев входит в кабинет то министром юстиции, то председателем Государственного совета, но, отчаявшись, он также подает в отставку, изложив в письме на имя камергера двора все катастрофическое положение страны.

«Наши финансы, – пишет он, – в отчаянном состоянии; гражданская администрация в полном распаде; что касается армии, то печальные условия, в которых она находится, избавляют меня от необходимости каких-либо комментариев».

Вокруг Абдул-Азиса создалась пустота; он не в состоянии найти великого визиря, который согласился бы принять на себя ответственность. Ему приходится вновь вернуть Махмуд Недима, который хотя и представлял из себя полнейшее ничтожество, но зато не мешал султану черпать из казны сколько ему заблагорассудится средств на свои личные расходы. В поисках средств Махмуд Недим, по вероломному совету Игнатьева, снижает на половину оплату текущего купона по внешнему займу. На всех европейских биржах оттоманские облигации скачут вниз. Начинается паника и враждебное настроение к Турции мелких европейских рантье, что было весьма на-руку русскому империализму. Кроме всего прочего, эта мера задела и турецкие зажиточные классы и, в первую очередь, крупное духовенство и чиновничество, которые помещали свои сбережения в эти ценности.

С этим совпали серьезные волнения в Герцеговине, Черногории, Сербии и Болгарии. Державы вмешивались в каждом таком случае, делая вид, что играют роль посредников между правительством и инсургентами, на самом же деле подготовляя расчленение империи. Так как правительство, под давлением России и Австрии, не решалось защищать мусульманское население Балкан от зверских набегов славянских четников, сами турки организовались в вооруженные отряды и, в виде репрессий, вырезывали христианские села. В Салониках толпа, подстрекаемая агентами-провокаторами, убила немецкого и французского консулов. Русская дипломатия умело использовала эти погромы, чтобы наполнить всю Европу воплем о «турецком варварстве» и создать в европейском общественном мнении благоприятные для интервенции настроения. В провокационных целях, чтобы создать впечатление приближающейся для всех христиан, живущих в Турции, грандиозной Варфоломеевской ночи, граф Игнатьев выписал себе охрану из 300 черногорцев и появлялся в окружении этих опереточно разодетых солдат, с ног до головы обвешанных оружием.

Все говорило о том, что империя находится в состоянии полной анархии.

Для Мидхата и его единомышленников настало время действовать, не теряя ни минуты.

Младотурки, разгромленные в начале семидесятых годов, не имели в то время ни определенной программы, ни сплоченной

организации. К ним примыкали самые разнородные элементы, начиная от опальных сановников Абдул-Азиса и либерально настроенных высших духовных иерархов, вплоть до радикальных выходцев из народа, мечтавших о настоящей массовой революции.

Стамбул бурлил еще с конца 1875 года. В кофейнях, на базарах, в мечетях – всюду шло оживленное обсуждение событий, связанных с восстаниями в Боснии и Герцоговине и разразившимся финансовым кризисом. Достаточно было двум знакомым встретиться на улице и заговорить о какой-либо новой вести с Балкан, как немедленно вокруг них образовывалась толпа. Купцы отходили от порогов своих лавок, ремесленники бросали свои молотки и пилы, разносчики прерывали пронзительный крик, которым они оглашали квартал, и все вмешивались в разговор, каждый вставлял свое слово, заявлял о своем недовольстве. Только приближение подозрительных, всюду шмыгавших личностей, в которых не трудно было разгадать полицейских шпионов, заставляло толпу медленно и неохотно расходиться. Озлобление против султана и его камарильи теперь звучало одинаково громко и в разговорах портовых хамалов, и в чинных беседах за чашкой кофе имамов мелких мечетей, и в офицерских столовых гарнизона.

10 мая 1876 года Абдул-Азис получил первое серьезное предостережение. К этому времени долго сдерживаемое чудовищными репрессиями брожение широких масс стамбульского населения наконец вырвалось наружу. В этот день тысячная толпа софт остановила на пути к военному министерству карету старшего сына султана, Юсуф-Изеддина, и потребовала, чтобы он немедленно вернулся во дворец и добился от султана отставки Махмуд Недима и шейх-уль-ислама – Хасан Фехми-эфенди, ненавидимого за его близость к камарилье.

Но демонстрация софт была лишь началом. Пока во дворце размышляли о том, как наказать дерзких студентов, толпа манифестантов росла, как снежный ком. Повсюду организовывались митинги, на которых говорилось, что страна и правительство являются игрушкой в руках иностранцев и что необходимы коренные внутренние реформы, чтобы спасти Турцию от гибели. На фешенебельных улицах Пера и в маленьких переулках Сиркеджи молодые люди решительного вида покупали все имеющееся у торговцев оружие, вплоть до старых ржавых сабель, которые продают любителям старины антиквары Бедестана. И когда вооруженная толпа двинулась в сторону дворца, султан пошел на уступки. Ненавидимое населением правительство Махмуд Недима было устранено. Великим визирем

был назначен старик Мехмед-Рюштю, а шейх-уль-исламом – известный своей ученостью и либеральными взглядами Хассан Хайрула-эфенди.

Мидхад вошел в кабинет в качестве министра без портфеля, но всем было ясно, что первая роль в новом правительстве принадлежит ему.

Первая паника дворца могла скоро пройти. Необходимо было действовать, пока султан и его камарилья не опомнились. Однако, Мидхат медлил, все еще надеясь добиться от султана конституции мирным путем. Но настроение масс испугало правительство. Несмотря на весь его либерализм, революционное выступление населения вовсе не входило в его расчеты. Поэтому было решено совершить переворот без участия масс.

Наиболее решительным и боевым человеком в кабинете был сераскер (военный министр) Хуссейн Авни-паша. Это был известный боевой генерал, солдафон, менее всего симпатизировавший либеральным идеям Мидхата, но смертельно ненавидевший Абдул-Азиса за ряд ссылок и унижений, которым он подвергался от султана и камарильи. Распоряжаясь армией, он имел теперь всю силу в своих руках. В то время, как Мидхат писал великому визирю о своих надеждах договориться с султаном, прося скрыть это от Хуссейн-Авни, последний потребовал немедленного низложения. Настояния Хуссейн-Авни подействовали в конце концов на Мидхата и его коллег. Чтобы придать акту свержения законность в глазах отсталых элементов, шейх-уль-ислам выдал торжественную фетву, гласившую:

> «если глава правоверных выказывает расстройство ума и неспособность управлять государством, если он употребляет государственные средства для личных расходов, если его пребывание у власти вредит государству и нации, может ли он быть низложен?
>
> Ответ: Священный закон говорит: „Да“.
>
> Написано смиренным Хасан-Хайрулла. Да окажет ему аллах свое милосердие.
>
> 30 мая 1876 года».

Некоторые разногласия произошли между Мидхатом и Хуссейн-Авни в вопросе о способе низложения султана. Сераскер предлагал прибегнуть к обыкновенному пронунциаменто.[87] Мидхат хотел придать этому акту характер народной санкции. Для этого он предлагал созвать софт и стамбульское население к мечети Нурие Османие, сообщить им о мотивах низложения и получить их одобрение на перемену режима. Большинство министров также высказывалось за эту процедуру, но

неожиданный инцидент заставил изменить этот план.

Накануне решительного дня, назначенного на 31 мая, одна из знакомых дворцовых женщин известила Мидхата, что султан о чем-то подозревает и заговор может быть открыт с минуты на минуту. Эти сведения подтверждались и тем, что дважды в этот день Хуссейн-Авни вызывался во дворец, несмотря на то, что он отговаривался нездоровым. Узнав об этом, министры-заговорщики решили действовать немедленно. 30 мая, в полночь, великий визирь и Мидхат, каждый в сопровождении слуги с фонарем, отправились в Сиркеджи[88] и, сев в каик, поплыли в Паша-Лимани – маленькое местечко на берегу Босфора, где жил Хуссейн-Авни.

Была темная ночь, шел проливной дождь, гребцам с трудом удалось отыскать берег. Хуссейн-Авни ждал их с нетерпением. После недолгой беседы, последние решения были приняты, и каждый поехал в назначенное ему место. Хуссейн-Авни отправился во дворец Долма-Бахче, а Рюштю с Мидхатом в военное министерство. Там должны были собраться министры и высшие сановники и ждать прибытия наследника Мурада, которого взялся привезти Хуссейн-Авни. По прибытии наследника, его должны были немедленно провозгласить султаном и зажечь огни на высокой белой башне сераскериата, чтобы сообщить флоту о совершившемся перевороте, после чего залпы броненосцев адмирала Ахмед-паши должны были известить город о событии.

Хуссейн Авни-паша.

Сообщить султану об его низложении было поручено маршалу Сулейман-паше[89] – главному начальнику военной школы в Пангальти.[90] Это был ревностный сторонник Мидхата и партии реформ, которому можно было доверить опасное и рискованное предприятие. В казармах Таш-Кишла и Гюмюш-Сую войска получили уже приказ начальника стамбульского гарнизона Редиф-паши и были расположены так, чтобы защищать подступы с суши. Броненосцы, находившиеся под непосредственным командованием морского министра, выполняли ту же задачу со стороны моря.

Оставалось лишь обезоружить караулы у самого дворца. Сулейман-паша повел туда избранный отряд пангальтских юнкеров. Выполнив быстро, но не без борьбы, эту операцию, он поспешил в аппартаменты наследника, который хотя и был предупрежден заранее и с нетерпением ждал этого момента, но теперь струсил и заколебался. Однако, Сулейман-паша понимал, что каждый момент промедления может стоить всем заговорщикам жизни; почти насильно он усадил Мурада в карету, стоявшую у ворот дворца, где его ждал Хуссейн-Авни.

После этого Сулейман-паша вновь бросился во дворец. Отталкивая караульных и лакеев, которые пытались его удержать, он ворвался к Абдул-Азису, которому сообщил о его низложении, прочитав ему затем фетву шейх-уль-ислама.

В то время как Абдул-Азис в ярости осыпал Сулейман-пашу самыми отборными ругательствами, залпы броненосцев извещали уже население о событии. Только тогда султан понял, что все кончено, и подчинился, после чего его немедленно перевезли в старый дворец Топ-Капу.

Переворот был совершен. Через два дня, рескриптом на имя великого визиря, новый султан заявлял, что: «империя будет реорганизована в соответствии с нуждами народа и таким образом, чтобы предоставить всем без различия подданным насколько возможно полную свободу». Далее говорилось о «благосклонном внимании к Совету министров, о справедливом применении законов и об уменьшении цивильного листа».

Первые дни после переворота были буквально праздником для всей империи. В Стамбуле ликование населения не знало пределов. Мало кто подозревал, что смена Абдул-Азиса менее всего означала ликвидацию деспотизма. Турки радовались как-будто наступившей весне свободы. Заговорила пресса, перед политическими заключенными открылись двери тюрем. Магозская крепость также выпустила своего узника в тот момент,

когда Намык Кемалю уже казалось, что он не выйдет живым из своего мрачного заключения.

Мидхат-паша был слишком умный и прозорливый человек, чтобы не видеть всего ничтожества только что возведенного им на престол султана. Но ему казалось, что достаточно окружить безвольного и поддающегося всем влияниям Мурада энергичными и преданными людьми – и опасность того, что он пойдет по стопам предшественника, будет устранена. Вот почему, в первые же дни после переворота, по требованию Мидхата, личными секретарями Мурада были назначены Зия-паша и Намык Кемаль.

Несколько лет спустя, в своей «почетной» ссылке в Адане, Зия-паша рассказывал:

«Был первый день моей работы во дворце. Мурад вызывал меня, давал различные поручения. Наступил вечер. Мне казалось, что вся работа окончена, когда внезапно мне сказали: „Вас требует падишах“. Когда я вошел, Мурад любезно сказал мне:

– Я порадую тебя хорошей вестью. Я немедленно возвращаю сюда твоих друзей.

Я не догадывался, о чем идет речь. Он понял это и, улыбнувшись, пояснил:

– Иди, немедленно скажи садразаму, пусть дадут телеграмму о вызове сюда Намык Кемаля и его товарищей.

Я так обрадовался этому распоряжению, что, позабыв об этикете, выбежал из залы и, несмотря на позднее время, отправился к великому визирю, находившемуся еще в министерстве.

Рюштю-паша встретил меня весьма холодно:

– В чем дело?

Не обращая внимания на его тон, я передал ему распоряжение Мурада. Рюштю страшно рассердился. Он заорал:

– Эфенди, мы покончили наши дела, время ли заниматься такой ерундой. Конец света, что ли, настанет, если эти баловники приедут на десять дней позже? Вы думаете мир рухнет от этого? Все это ваша затея. Неужели вы не нашли ничего другого сказать падишаху?

До конца жизни я не забуду этой сцены. Для меня стало ясно, что Рюштю-паша был злейшим врагом Намык Кемаля и всех нас. Я тоже вспылил и безо всяких обиняков дал хорошую отповедь садразаму, а на следующий день подал в отставку. Таким образом, я не оставался в должности главного секретаря султана даже и 24 часов».

Но все же распоряжение об освобождении Намык Кемаля было дано. Больной, истощенный лихорадками и начавшейся

легочной болезнью, которая 12 лет спустя свела его в могилу, он плыл теперь на пароходе к любимому Стамбулу, радуясь, что пора испытаний кончилась и что для отечества, которому он готов был отдать свою жизнь, начиналась эпоха свободы и прогресса. Но в столице он застал совсем не то, чего ожидал и на что надеялся.

Как всякий верхушечный переворот, в котором не принимают участия широкие массы, переворот 30 мая не имел прочного фундамента. Мидхат и его сторонники низложили султана, являвшегося слишком махровым деспотом, но не осмеливались посягнуть на самый принцип самодержавия. Как когда-то янычары остановились перед уничтожением последнего Османа, так и одержавшая на короткий миг победу буржуазия не решалась покончить с династией. Такое положение могло удовлетворить лично недовольную султаном бюрократическую верхушку, но ни в коей мере не отвечало интересам и требованиям широких масс населения и даже наиболее передовой части национальной буржуазии.

Миллионное крестьянство осталось равнодушным к перевороту, не принесшему ему никакого улучшения его положения. Низший состав офицерства и радикально настроенная учащаяся молодежь также поняли после первых дней ликования, что смена падишаха не знаменует коренного изменения режима. Мидхат и его группа уже скоро почувствовали свое одиночество и отсутствие поддержки со стороны широких масс.

Дальнейшие события показали всю непрочность совершенного переворота.

Еще в карете, почти насильно везя наследника в сераскериат, Хуссейн-Авни обнаружил что-то неладное. Будущий падишах, под влиянием страха и чрезмерного употребления алкоголя, к которому он уже давно прибегал, то бормотал что-то невнятное, то впадал в нервные припадки. Во время возвращения во дворец, после церемонии провозглашения, это состояние настолько обострилось, что встревоженный Мидхат, сопровождавший нового султана, счел благоразумным остаться во дворце и не покидал его три Дня.

Созванные срочно врачи и вызванный из Вены психиатр Лейндерсдорф могли лишь констатировать начинающееся безумие, но сочли его временным. Однако последующие события оказали роковое влияние на Мурада. Первым из них была внезапная смерть Абдул-Азиса.

Переведенный вскоре из Топ-Капу во дворец Чераган на берегу Босфора, рядом с султанским дворцом Долма-Бахче, Абдул-Азис был найден, через пять дней после низложения,

мертвым в своей комнате с перерезанными венами и артериями на руках. Созванные врачи, в том числе и иностранные, запротоколировали самоубийство, совершенное при помощи ножниц, за которыми за несколько минут до смерти Абдул-Азис посылал к своей матери.

Меньше всего, конечно, Мурад был склонен сожалеть об исчезновении дяди, который всю жизнь был его кошмаром и причиной бессонных ночей, проведенных в страшном ожидании дворцовых палачей, но чераганская трагедия вызвала в его воображении всю опасность его собственного положения среди ненавидящей его дворцовой камарильи. Перед ним вставал образ его брата, всегда любезного, лицемерного Абдул-Хамида, замыслы которого были ему слишком хорошо известны. Ему достаточно было вспомнить о холодных, глубоко спрятанных в орбиты глазах наследника, чтобы холодный пот выступил у него на теле и чтобы его воображение начинало ясно рисовать сцену, в которой ему придется играть роль Абдул-Азиса. В том, что смерть дяди дело рук Хуссейн-Авни, у него не было ни малейшего сомнения. Впрочем, уже тогда иностранная пресса иронически писала, что с Абдул-Азисом покончили самоубийством.

Прошло еще несколько дней. Мурад настоятельно требовал от министров удаления из дворца и высылки подальше всех фаворитов покойного султана. Именно стремясь окружить себя верными, не способными на предательство и убийство в темном углу людьми, приблизил он к себе Зию и торопил возвращения Кемаля.

Среди высылаемых из столицы был некто Хасан – черкесский офицер, адъютант Абдул-Азиса. Его направили в шестой армейский корпус, стоявший в Багдаде. Он всячески оттягивал отъезд и повсюду громко говорил, что Абдул-Азиса прикончил Хуссейн-Авни. Слухи, распространяемые им и его кликой, создали известное возбуждение среди реакционных элементов и, как мы видели выше, получили отклик за границей. Русский посол Игнатьев, для которого свержение его послушного орудия, Абдул-Азиса, было чувствительным ударом, всячески использовал эти слухи. Хасан, впрочем, был вскоре арестован, но, дав торжественное обещание подчиниться высылке, был выпущен на свободу.

15 июня, в самый день своего освобождения, он явился в дом Мидхата в Тавшан-Таши, где собрался Совет министров. Было десять часов вечера, и министры только-что приступили к совещанию. Обманув внимание слуг, Хасан ворвался в залу, где шло заседание, и выстрелом из револьвера в грудь свалил военного министра Хуссейн-Авни. Министры в панике бросились

в соседнюю комнату, где и забаррикадировались. Морской министр, попытавшийся схватить убийцу, был серьезно ранен ножом. Хуссейн-Авни пытался дотащиться до лестницы, но Хасан догнал его и вонзил ему в грудь кинжал. Он вернулся затем в залу и стал кричать, чтобы ему выдали великого визиря:

– Дайте мне кейсарийца,[91] и я вам не сделаю никакого зла.

Но министры не отпирали. Тогда Хасан начал стрелять через двери, бросил креслом в люстру и поджег упавшей с люстры свечой занавеси. Слуге Мидхата, Ахмед-аге, обладавшему геркулесовой силой, удалось схватить за локти убийцу, но тот вырвался и одним выстрелом свалил замертво противника. Заметив лежащего на полу в обмороке министра иностранных дел Рашида, он разрядил в него в упор револьвер и уложил на месте.

Эта сцена длилась полчаса, и ни один человек из дома, наполненного людьми, не мог остановить убийцу. Министры, предполагая, что особняк окружен целой бандой, не осмеливались выйти из своего убежища. Когда прибыли первые жандармы, Хасан встретил их выстрелами и поранил несколько человек. Только прибывшему отряду солдат удалось взломать двери и с трудом овладеть разъяренным фанатиком. Окруженный солдатами, израненный в стычке, он спускался по лестнице, когда один из адъютантов морского министра стал осыпать его ругательствами. Хасан нагнулся, вынул из сапога другой револьвер и пристрелил офицера на месте. Мидхату с трудом удалось спасти убийцу от линчевания, но на следующий день он умер от ран еще прежде, чем мог быть приведен в исполнение вынесенный ему смертный приговор.

Это происшествие, стоившее жизни нескольких человек, в том числе и двух министров, произвело в стране сильнейшее впечатление. Либералы почувствовали, что реакция вовсе не ликвидирована с низложением Абдул-Азиса. Овладевший новым падишахом страх за свою жизнь вызвал повторный припадок безумия, по поводу которого врачи на этот раз могли вынести лишь самый мрачный прогноз.

В городе было неспокойно, реакция открыто сплачивала свои силы; в темных массах фанатического населения, возбуждаемого ходжами и дервишами, началось брожение. То обстоятельство, что новый падишах не показывался на традиционных селямликах и что до сих пор не состоялось торжественного обряда его посвящения, всячески использовали агитаторы. В мечетях и других общественных местах появились прокламации, в которых говорилось, что султан османов и калиф правоверных не царствует более и что вместо него правят Мидхат и Мехмед-Рюштю.

Во главе реакционной клики, задумавшей свергнуть Мидхата и тем предупредить возможность введения ненавистной конституции, стал зять султана Дамад Махмуд Джелалэддин, начальник стамбульского гарнизона – Редиф-паша и еще несколько лиц из генералитета. Они все участвовали в свержении Абдул-Азиса, но их целью было занятие главенствующего положения в правительстве, а вовсе не введние реформ, ограничивающих самодержавие. Болезнь Мурада и волнение отсталых фанатических элементов как нельзя лучше благоприятствовали их планам, тем более, что объявление конституции задерживалось из-за сумасшествия султана и это вносило смятение в ряды самих либералов.

Ко всему прочему в это дело вмешались интриги иностранной дипломатии. Австрийское правительство на протесты турецкого посла в Вене против открытой поддержки боснийского восстания заявляло, что Мурад до вступления на трон обязался согласиться на оккупацию Боснии Австрией. Иностранные послы и посланники настойчиво требовали ответа, когда они могут вручить свои верительные грамоты. Игнатьев держал себя более вызывающе, чем когда-либо, и заявлял открыто, что пришел момент покончить с этим двусмысленным положением. Англия, от которой доверчивый Мидхат наивно ждал поддержки, вероломно наносила Турции удар в спину. Она присоединилась к коллективному вмешательству держав в сербские дела, а английский посол Эллиот заявлял Мидхату, «что дальнейшие колебания принять предложение держав вызовут роковые последствия для империи и что, если Россия выступит в защиту Сербии, Порта не может ожидать помощи ни от одной европейской державы».

Мидхат понял, что все его дело идет к катастрофе. Дамад-Махмуд и его реакционная клика открыто готовили низложение Мурада и для этой цели вступили в переговоры с наследником Абдул-Хамидом.

Мидхат со своей стороны также вошел в сношение с наследником. Человек, который вошел впоследствии в историю как один из самых мрачных и кровавых деспотов, мог радоваться. Еще недавно у него было мало оснований даже мечтать о троне Османов, сейчас же две партии конкурировали, стараясь привлечь его на свою сторону и предоставляли в его распоряжение все свои силы. Нет сомнений, что уже и в тот момент все его симпатии были на стороне реакции, но, хладнокровный игрок, он не мог не считаться, что либеральная партия представляла собой на данный момент главную силу в стране.

Он вел двойную игру и давно уже прикрывал свое

неукротимое стремление к неограниченной власти смиренными либеральными излияниями, на которые не скупился.

Мидхат и его группа приняли решение поставить Абдул-Хамиду следующие условия для возведения его на трон: немедленное объявление конституции, отказ от советов безответственной дворцовой камарильи и назначение Зии-паши и Намык Кемаля его личными секретарями.

«Мидхат, – писал впоследствии сын Кемаля, Али-Хайдар Мидхат, из книги которого мы заимствуем ряд подробностей об этом крупнейшем государственном деятеле Турции, – придавал этому последнему условию громадное значение, так как оно являлось гарантией против интриг двора, которые свели на-нет столько проектов реформ».

Мидхат знал, что Зия и, в особенности, пламенный патриот Кемаль будут во дворце тем глазом прогрессивной партии, который должен будет обнаружить первую же попытку борьбы султана против конституционного режима.

Примет ли Абдул-Хамид все эти условия? Мидхат был слишком умным человеком, чтобы не разгадать будущего кровавого султана за маской скромного либерального наследника. Поэтому он предусматривал и вторрй вариант: если Абдул-Хамид откажется от поставленных условий, предложить их его младшему брату Мехмед-Решаду.[92] Жене Мидхата[93] было поручено выяснить отношение Решада к реформам.

Но Абдул-Хамид без всякого возражения принял все условия. Во время исторического свидания с Мидхатом в резиденции наследника Муслу-Оглу он великолепно сумел скрыть свои настоящие чувства и тайные замыслы. Он обещал все, что у него требовали, и даже больше; он демонстрировал более либеральные убеждения, чем убеждения самых передовых из партии Мидхата, высказывался за более демократическую конституцию, чем та, которую предлагал Мидхат. Охотно пошел он и на остальные условия и, в частности, на назначение в секретариат дворца Зия-паши и Кемаля. Он клялся, что вернет трон Мураду, если в состоянии последнего наступит улучшение.

Мидхат уходил от него в известной мере успокоенным, не зная, что Абдул-Хамид уже тесно спаял себя с реакционной партией и что по черной лестнице к нему ходят богатые галатские ростовщики, которые, боясь возможного движения низов, обещали ему широкую денежную поддержку. Так, за спиной Мидхата, было заложено начало блока феодальных землевладельцев, духовенства и ростовщического капитала, блока, стоявшего потом 30 лет у власти, вплоть до младотурецкой революции 1908 года.

Доклад Мидхата о переговорах с наследником положил предел колебаниям; правительство решило низложить Мурада и отдать трон Абдул-Хамиду.

1 сентября 1876 года на площади перед дворцом Топ-Капу было собрано население столицы. Великий визирь Рюштю прочел заключение врачей о неизлечимом характере безумия Мурада и после короткой речи сказал:

– Нам остается лишь ознакомить вас с тем, что диктует в подобных случаях шариат.

После чего шейх-уль-ислам, все тот же Хайрулла, прочел свою фетву:

> «Если глава правоверных одержим безумием и если это препятствует выполнению им своих обязанностей, может ли он быть низложен?
>
> Ответ: Священный закон говорит: „Да“. Написано смиренным Хасан-Хайрулла. Да окажет аллах ему свое милосердие».

Низлагая безумного Мурада, Мидхат сам совершал акт величайшего безумия, отдавая власть в руки смертельного врага молодой Турции.

Конституция

Невозможно уничтожить свободу жестокостью и деспотизмом; старайся, если можешь, уничтожить разум у человечества!

НАМЫК КЕМАЛЬ «Вивейла» («Стоны»)

В течение последних месяцев, предшествовавших второму перевороту, Намык Кемаль лишь изредка имел возможность беседовать с Мидхатом. Этому мешала его болезнь и то, что Мидхат был всецело поглощен своими планами и возникшими затруднениями. Но когда они встречались, Кемаль не скрывал своих опасений. Он несколько раз пытался доказывать Мидхату лицемерие и вероломство Аб-дул-Хамида и убеждать его, что падишах питает подозрительные замыслы:

– Султан притворяется ягненком, чтобы усыпить бдительность нации, – говорил он. – Надо смотреть в оба.

Но у Мидхата в эти роковые дни как-будто исчезла вся его прозорливость. Его едиственным ответом было:

– Что он может сделать? В его руках нет никакой силы. Благодаря конституции, он всецело в нашей власти. В этом не может быть сомнения.

Мидхат не замечал, что и в его руках также не было никакой силы. Все реакционые элементы ополчились против него, а умеренность его политической я в особенности социально-экономической программы исключала поддержку широких народных масс. Конституция Мидхата не уменьшала для крестьян гнета помещиков и не спасала их от жадной своры ростовщиков и откупщиков. Единственный вид политического протеста, к которому прибегало тогда отсталое, распыленное по огромной территории турецкое крестьянство, – уход в разбойничьи банды и нападение на помещиков и богатых горожан, – в равной мере жестоко подавлялся как реакционными, так и либеральными администраторами. Сломленная капитуляциями и иностранным засильем национальная буржуазия представляла слишком незначительную силу. Армия попрежнему оставалась недовольной, как и при Абдул-Азисе, ибо средств для ее содержания в казне сейчас было не больше, чем при старом султане. В этих условиях совершалось вступление на трон нового

падишаха.

1 сентября 1876 года Абдул-Хамид верхом, в сопровождении высших гражданских и военных сановников империи, проехал по Большой улице Пера, направляясь в Стамбул. Население сбежалось смотреть на кортеж, но хранило молчание и не проявляло никакого энтузиазма.

Абдул-Хамид торопился с посвящением. Торжество было назначено на 18 сентября. Утром, в роскошном золоченом каике, покрытом богатыми коврами, он проследовал по Золотому Рогу к мечети Эйюба,[94] где хранятся сабля Османа и другие священные реликвии. Здесь по традиции совершалось посвящение новых султанов, состоявшее в том, что глава ордена мевлеви опоясывал их саблей родоначальника династии.

Обряд был совершен. Грохотала артиллерия флота и береговых батарей. Выстроенные на реях и вантах матросы кричали: «Многолетие падишаху!».

После церемонии новый султан, согласно обычая, поехал к мавзолею Селима I, первого калифа Османской династии, а затем к гробу своего отца Абдул-Меджида. В ту же ночь, выходя из дворца Долма-Бахче, великий визирь Рюштю, обернувшись к своим коллегам, сказал: «мы поторопились отделаться от Мурада, как бы нам не пришлось раскаяться в этом».

Старый бюрократ имел тонкий нюх. Поэтому он вскоре поспешил подать в отставку. Мидхат, который уже в течение трех последних месяцев был фактически главою правительства, принял пост великого визиря.

Уже с первых дней вошествия на престол Абдул-Хамид показал, как он выполняет данные обещания. Его первой заботой было назначение своих людей на важнейшие дворцовые должности. Дамад-Махмуд Джелалэддин, глава реакционной группы, был назначен главным маршалом дворца, а одна из его ближайших креатур, Саид-паша, известный под кличкой «англичанина», потому что он получил образование в Вульвиче, – первым адъютантом.

После обряда посвящения султан возвращается из мечети Эйюба (со старой гравюры).

Мидхат не сделал никаких возражений против этих назначений, так как это были чисто придворные посты, не имевшие отношения к государственным делам. Другое дело должности в личном секретариате султана. Благодаря своему положению и постоянному доступу к падишаху, с которым он мог общаться каждый день, первый секретарь всегда играл чрезвычайно важную роль, которая мало в чем уступала роли самого великого визиря. Вот почему Мидхат придавал такое значение тому, чтобы эта должность была предоставлена лойяльному и преданному либералам человеку. Хотя во время свидания в Муслу-Оглу Абдул-Хамид согласился назначить в секретариат указанных ему людей, уже при первом визите Мидхата во дворец он сообщил ему о назначении первым секретарем Саид-бея, известного под именем «маленького Саида», креатуру Дамад-Махмуда, игравшего впоследствии виднейшую роль в реакционной политике Абдул-Хамида. Несмотря на все возражения Мидхата и министров, султан не согласился изменить своего решения.

Может, пожалуй, вызвать удивление, что в этом вопросе, который Мидхат считал столь важным, он не проявил большой настойчивости. Но надо учесть, что в этот момент Мидхат уже начинал сознавать свою слабость. Он имел достоверные сведения, что большинство его товарищей по кабинету относятся далеко не сочувственно к его реформаторским планам и ждут лишь подходящего момента, чтобы предать его. Таким образом, важнейшая цитадель дворца оказалась в руках врагов. Но, одержав эту первую победу, Абдул-Хамид не спешил итти дальше. Он открыл только часть своей коварной игры, но не осмеливался еще свалить Мидхата. Мидхат был все же силой, с которой нельзя было не считаться. Он и его конституция были еще нужны для

борьбы с конференцией держав, которая должна была скоро собраться в Стамбуле. Вместо открытого немедленного разрыва с визирем, Абдул-Хамид предпочел тактику глухой и постепенной борьбы с политикой Мидхата.

Он пока не отрекался окончательно и от конституции. С его согласия была назначена специальная комиссия, которой было поручено выработать соответствующий проект. В комиссию были назначены Намык Кемаль и Зия.

В общении с лидерами либеральной партии Абдул-Хамид также продолжал афишировать свой либерализм. Намык-Кемаль два или три раза был вызван во дворец и милостиво принят султаном, который заверял его в своей преданности свободе, конституции и либеральным идеям, и в то же время с трудом сдерживал свою ярость от замечаний Кемаля, который не умел лицемерить.

Так однажды, когда перед дворцом играл новый султанский оркестр, об организации которого заботился сам Абдул-Хамид, последний в присутствии Дамад-Махмуда сказал Кемалю:

– Я реформировал свой оркестр, как вы его находите сейчас?

– Не плохим, – холодно ответил Кемаль, Прожженный придворный льстец Дамад-Махмуд поспешил вскричать:

– Что значит не плохой? Даже в Европе нет такого оркестра, как у нашего падишаха.

Кемаль вспыхнул:

– Такой оркестр, как этот, можно найти в любом европейском кафешантане.

Делая над собой колоссальное усилие, чтобы сдержать гнев, Абдул-Хамид признал, что Кемаль прав. В другой раз султан коварно спросил Кемаля:

– Кого вы любите больше: меня или брата? Кемаль понимал, что откровенное заявление о том, что он предпочитает низложенного Мурада, может стоить ему дорого, но солгать было выше его сил.

– Султана Селима Грозного, – ответил он, давая этим понять, что лишь простая воспитанность мешает ему без обиняков выразить свою нелюбовь к Абдул-Хамиду.

Прошло немногим более недели после вступления на трон Абдул-Хамида, когда начались новые стычки между ним и Мидхатом. На этот раз дело уже шло не о назначениях, а о самых принципах будущего правления. В тронной речи, написанной Мидхатом, Абдул-Хамид тщательно вычеркнул самые существенные моменты. Уж не говоря о том, что он не согласился в обращении на имя великого визиря назвать последнего премьер-министром, что по мнению Мидхата должно было

подчеркнуть конституционный характер кабинета, он удалил из речи формальное указание на конституционную систему будущего правления абзац, касающийся экономии в расходовании государственных средств, и обязательство сократить до минимума бюджет двора. Были вычеркнуты также заявления о созыве Совета для выработки реформ, о создании новых школ и введении всеобщего обучения и, наконец, заключительная часть, где говорилось о немедленном упразднении рабства, причем сам султан должен был подать первый пример, отпустив на волю рабов и евнухов своего дворца.

Снова, как и в деле с назначением секретарей, Мидхат не мог добиться своего. Чем дальше, тем больше обострились отношения между ним и султаном. В этих трениях вопрос будущей конституции занимал теперь центральное место. Султан отказывался представить ее положения на обсуждение специально созданного для этого Высшего совета, как на этом настаивал Мидхат, и требовал, чтобы конституция была просто представлена ему министерством, как обыкновенный административный акт.

Зия и Намык Кемаль в эпоху их работы в комиссии по выработке конституции.

23 ноября в письме, адресованном непосредственно на имя Мидхата, еще до отставки великого визиря Рюштю, он пишет:

«Мы придаем больше значения тому, чтобы новой

> организацией были сохранены суверенные права (монарха). Поэтому мы хотим, чтобы конституция была обсуждена в Совете министров и подверглась необходимым исправлениям».

В своем ответе Мидхат дипломатично говорит, что он и сам представил предложенный им проект, как черновик, требующий поправок, но настаивает на срочности введения реформы:

> «Необходимо или ввести до открытия дипломатической конференции, то-есть в ближайшие три-четыре дня, те реформы нашей внутренней организации, которые мы объявили и обещали всем державам, или же принять предложения держав и решиться вечно жить под их опекой».

Коренным различием между действиями Мидхата и игрой султана было то, что Мидхат видел в конституции средство против опеки держав, Абдул-Хамид же, наоборот, видел в державах защиту против ненавистной ему конституции.

Сохранение суверенных прав, о которых Абдул-Хамид говорил в своем письме, было намеком на его требование введения в конституцию пресловутой 113-й статьи, в силу которой можно было в тех областях, где происходят беспорядки, отменять на время конституционные гарантии. Мидхат долго боролся против этой статьи, которая могла в любой момент (как это и оказалось позже) позволить султану легально прекратить действие конституции, но, озабоченный необходимостью провозгласить этот акт самое позднее в первый день созыва конференции держав, плохо разбираясь в замыслах человека, с которым он имел дело, Мидхат уступил и, в конце концов, хотя и неохотно, согласился включить в текст конституции пресловутую статью.

19 декабря 1876 года Мидхат был назначен великим визирем. Со стороны Абдул-Хамида это был умелый шахматный ход. Новый султан как будто шел навстречу всем желаниям партии реформ. Кроме того, это назначение было весьма выгодным и в виду предстоящей конференции: у европейской дипломатии, традиционно обосновывавшей свои домогательства и вмешательство во внутренние дела Турции реакционностью политики Высокой Порты, выбивался из рук весьма важный козырь.

С другой стороны, сам Мидхат был теперь связан по рукам и ногам. В кабинете оппозиция его политике вырисовывалась все сильнее и сильнее. На одном из собраний министров в доме

Дамад-Махмуда министр юстиции Джевдет-паша вдруг выступил с предложением отказаться от введения конституции, так как она стала «ненужной со вступлением на престол либерального монарха». Понадобились резкий отпор со стороны Мидхата и его угроза уйти в отставку, чтобы остальные члены кабинета не присоединились к этому предложению. Это решительное выступление Мидхата показало его врагам, что их час еще не настал, и они притворились, что согласились с мнением Мидхата.

Внутренние и внешние дела Турции шли все хуже и хуже. Теперь сам Мидхат стоял во главе правительства, которое попрежнему вело политику угнетения и разорения страны. Он начинал терять свою популярность в тех кругах торговой буржуазии, среднего чиновничества и офицерства, которые ранее его поддерживали. Кроме того, как только он стал главой правительства, произошло охлаждение между ним и английской дипломатией, которая раньше поддерживала его, как заклятого врага России. Как-только англичане убедились, что Мидхат вовсе не намерен быть их послушным орудием, их отношения к нему сразу переменились. В самый день назначения его великим визирем, английский посол Элиот писал министру иностранных дел, лорду Дерби:

«Мидхат всегда проявлял желание следовать советам нашего правительства, но сейчас я не знаю, каковы его чувства к Англии».

23 декабря 1876 года в большом зале Адмиралтейства, окна которого выходили на Золотой Рог, собралась конференция представителей великих держав. Ее цель была всем известна. Россия вновь настойчиво ставила вопрос о наследстве «больного человека». Война была неизбежна, и ее исход не оставлял ни для кого сомнения. Но европейские державы хотели получить и свою долю добычи.

По существу это была не дипломатическая конференция, а судилище. Турция обвинялась в жестоком, варварском управлении своими многочисленными национальными меньшинствами: болгарами, сербами, греками, валахами, сирийцами, арабами. И каждый из «судей», под предлогом опеки над какой-либо частью меньшинств, стремился выкроить себе новую колонию.

Наивность Мидхата заключалась в его вере, что достаточно будет провозгласить конституцию, уравнять в правах все меньшинства, ввести реформы в управлении христианскими и другими провинциями, как вся эта жадная свора империалистов растрогается и откажется от своих притязаний.

Конференция открывалась в торжественной обстановке. Только-что были закончены предварительные формальности, как

раздался залп с другого берега Золотого Рога. Выстрел следовал за выстрелом. Глухой гул потрясал стены, и громадные окна Адмиралтейства дрожали. Это был тот театральный эффект, который заранее подготовило правительство. Сейчас же после первых выстрелов турецкий делегат Савфет-паша поднялся с места и сказал:

«Господа, орудийные выстрелы, которые вы слышите, это сигнал провозглашения конституции, гарантирующей права и свободу за всеми подданными империи без всякого различия. Я считаю, что при наличии этого великого события, наша работа стала излишней».

Эта маленькая речь была встречена ледяным молчанием уполномоченных, а затем поднялся граф Игнатьев и предложил перейти к порядку дня.

Турки не имели представления, что в течение целого месяца представители держав заседали без них, и все вопросы были уже давно разрешены. Весь эффект от провозглашения конституции был сорван. Началась дипломатическая битва «европейского концерта» против Турции, которая привела к несчастной для нее войне 1877–1878 гг.

В то же утро, когда открылось заседание конференции, на громадной площади перед зданием Высокой Порты, на высокой эстраде, торжественно украшенной знаменами, собрались все нотабли Стамбула: улемы, в их старинных кафтанах и живописных чалмах, министры в расшитых золотом мундирах, высшее чиновничество и генералитет. Громадная толпа, стекавшаяся сюда со всех кварталов города, несмотря на проливной дождь, теснилась вокруг возвышения.

В полдень первый секретарь султана, Саид-паша, в сопровождении многочисленной свиты и предшествуемый военным оркестром, прибыл на площадь. В его руках был императорский манифест, который он прочел собравшимся.

Окончив чтение, он поцеловал текст конституции и торжественно вручил ее Мидхат-паше. Печатные оттиски конституции тут же были розданы присутствующим.

После речи великого визиря, в которой Мидхат старался подчеркнуть значение акта, и молитвы, прочитанной адрианопольским муфтием, салют в 101 выстрел известил стамбульское население о введении мертворожденной конституции.

Собравшиеся кричали ура. Образовалась процессия. Улемы шли во главе с шейх-уль-исламом, греческое духовенство вел патриарх. Шли министры, профессора университета, представители всех гильдий, софты и просто разные люди. На

некоторых знаменах золотом было написано слово «свобода». Процессия проследовала к дому Мидхата, где великому визирю были принесены поздравления. Вечером софты и мелкие ремесленники шли по городу с факелами и кричали «да здравствует Мидхат!». Со всех концов страны летели приветственные телеграммы. Даже мечети были иллюминованы. Лишь громадные зеркальные окна Долма-Бахче были погружены в полный мрак.

Среди всеобщего ликования прессы лишь «Хайал», газета видного журналиста Касаба,[95] вносила пессимистическую нотку, высказывая сомнения в долговечности конституции.

Абдул-Хамид уже не скрывал своего дурного настроения и спешил приблизить тот день, когда можно будет расправиться со всей этой крамолой.

На следующий день, узнав о том, что город Адрианополь прислал поздравительное приветствие Мидхату, он лично распорядился запретить опубликование его в печати.

Через несколько дней после объявления конституции у Мидхата произошло новое столкновение с султаном.

В газете «Истикбал» («Будущее») появился ряд статей, в которых подвергались сомнению намерения султана в отношении конституции. По сведениям дворца, вдохновителем этих статей, приведших в ярость Абдул-Хамида, был Зия. Мидхат-паше было предложено немедленно удалить Зию из Стамбула, назначив его послом в Берлин. Это делалось для того, чтобы лишить Мидхата его ближайших сотрудников. Мидхат всячески оттягивал исполнение этого распоряжения. В то же время стамбульское население, узнав о попытке удалить Зию, решило помешать его отъезду, избрав его депутатом в готовившийся собраться парламент. Но в то время как либеральная партия почивала на лаврах, Абдул-Хамид исподволь собирал и сплачивал силы реакции. Он назначил Зию губернатором Сирии и настоял на его отъезде. «Истикбал» был закрыт; та же участь постигла и газету «Вакыт» («Время»), осмелившуюся напечатать рассуждения на тему, что фетва шейх-уль-ислама достаточна для низложения султана.

Дипломатическая конференция разъехалась, сорванная абсолютно неприемлемыми для Турции требованиями держав, в особенности России. С этого момента султан не считал уже более нужным стесняться с Мидхатом. На требование последнего уволить в отставку министра финансов Талиба, совершившего ряд разорительных для казны операций, и в частности ловко увеличившего вдвое цивильный лист султана, уплачивая по нему золотом вместо бумажных денег, Абдул-Хамид ответил отказом.

Точно так же был отвергнут проект Мидхата о введении учебных заведений и, в первую очередь, юнкерских училищ, куда, по мысли великого визиря, должна была допускаться и немусульманская молодежь.

Чувствуя, что он теряет позицию за позицией, Мидхат наконец решил играть ва-банк. В письме, обращенном к султану, он пишет:

> «Я питаю глубокое уважение к особе вашего величества. Но, согласно закона и шариата, я должен воздерживаться от повиновения вашим приказаниям всякий раз, как они не соответствуют интересам нации. Я страшусь голоса моей совести, перед которой я твердо обязался действовать так, как этого требует спасение и благоденствие моего отечества.
>
> Вот уже девять дней, как вы уклоняетесь от исполнения моих просьб. Вы отказываете согласиться на законы, необходимые для счастья страны, без которых вся наша деятельность остается бесплодной. В то время как ваши министры прилагают все старания, чтобы восстановить здание правления, я могу сказать, что ваше величество работаете над его разрушением».

Три дня Мидхат-паша отказывается ехать во дворец. Султан, готовый сейчас на все крайности, посылает к нему министра иностранных дел Савфет-пашу сказать, что все требуемое Мидхатом будет удовлетворено, и просить его приехать во дворец. Мидхат ответил, что он приедет лишь тогда, когда будет опубликовано султанское ираде относительно его проектов. На этот раз султан посылает своего первого секретаря Саид-пашу с заявлением, что ираде появится, как только Мидхат приедет.

Мидхат решил поехать. По дороге он заметил необычное скопление войск в районе Тавшан-Таши, но отступать было поздно. Как только он прибыл во дворец, у него потребовали возвращения государственной печати и отвезли его на императорскую яхту «Иззеддин», немедленно отплывшую в Мраморное море.

Капитан яхты получил запечатанное распоряжение, которое он должен был вскрыть лишь через 24 часа после стоянки в бухте Челкмедже, если до этого времени он не получит новых распоряжений. Смысл этой последней меры был ясен: двор опасался, что изгнание Мидхата вызовет восстание в столице. В этом последнем случае Мидхата можно было еще вернуть из Челкмедже и затем дождаться более удобных обстоятельств.

Но Стамбул остался спокойным. Та либеральная верхушка,

которая поддерживала Мидхата, была слишком слаба, масса же населения не имела никакой охоты выступать на защиту человека, политика которого слишком мало соответствовала ее насущным интересам.

Когда капитан яхты вскрыл в положенный срок пакет, он нашел в нем приказ высадить Мидхата в любом иностранном порту по выбору опального визиря. Мидхат избрал Бриндизи, куда и отвезла его яхта.

Как в старые времена, великий визирь был арестован и выслан по единоличному распоряжению султана. Реакция одержала свою первую крупную победу.

Война

Пусть кровавые слезы точат наши глаза,
Горько плачут отцы, матери рвут волоса.
К груди родины нашей враг приставил штыки,
И спасти не судьба нам родимой земли.

НАМЫК КЕМАЛЬ

Тяжелое поражение Франции в 1871 году коренным образом нарушило то «европейское равновесие», которое создалось в результате Крымской войны и которое мешало русскому империализму продолжать свое наступательное движение на Ближнем Востоке.

На ряд лет обессиленная в военном отношении Франция выбывала из игры. Дружественный нейтралитет, который Россия сохраняла во время войны в отношении Пруссии, давал ей право на «благодарность» со стороны этой последней. С 1873 года, когда императоры Александр и Вильгельм заключили секретную конвенцию, обеспечивающую русскую помощь Германии против Франции и германскую помощь России против Австрии, новая война с Турцией считается решенной.

Возвышение Германии в ранг первоклассной европейской державы начинало серьезно беспокоить Англию и ослабляло позиции британского империализма на Ближнем Востоке, Еще более беспокоило Лондон победоносное продвижение русских армий в глубь Средней Азии, завоевание Хивы, Бухары, Коканда, угроза Афганистану, а затем и Индии.

В этих условиях война на Ближнем Востоке, где Россия была под надзором всей Европы и, как показал уже неоднократный опыт, многого сделать не могла, являлась для Англии желательной диверсией.

Теперь Оттоманская империя вновь почувствовала на своей шее мертвую хватку северного соседа. Напрасно растерявшаяся Порта ищет спасения в покорном подчинении все возрастающим претензиям русской дипломатии. Еще несколько лет тому назад Александр II не только всячески афиширует свою дружбу с Турцией, но и оказывает ей реальные услуги, как это было в деле критского восстания, когда Петербург ультимативно запретил

Греции «содействовать попыткам восстания во владения султана». Сейчас Александр II размашисто пишет на полях телеграммы Игнатьева, где говорится о дружеских заверениях султана: «не нуждаюсь в его дружбе». Чем более Абдул-Азис и его креатура Махмуд Недим лебезили перед Игнатьевым, тем откровеннее и наглее становится тон петербургского кабинета, лихорадочно готовящегося к захвату «ключей к Черному морю», которые одинаково не давали спать южнорусским помещикам, хлебным экспортерам Одессы и ситцевым фабрикантам Иванова и Шуи.

В Петербурге соперничают две партии. Одна считает, что надо готовиться к войне с Турцией. По мнению другой, Оттоманская империя достигла такого состояния разложения, что справиться с ней можно без русских армий, одной поддержкой восстаний в славянских областях. По церквам собираются деньги на эту поддержку. В Сербию прибывают русские добровольцы во главе с генералом Черняевым. Черногория, а затем и Сербия втягиваются в войну с Турцией.

Однако предсказания о легком разгроме Турции не оправдались. 17 октября 1876 года «мехмеджики»[96] наголову разбили сербскую армию под Дьюнишем, после чего перед турками открылась дорога на Белград. Теперь России не оставалось ничего иного, как посылать на Балканы собственную армию, причем, чтобы справиться с Турцией, понадобилось шесть корпусов, а не две дивизии, как недавно кричали стратеги школы «шапками закидаем».

Чтобы спасти Сербию, Россия предложила Порте заключить шестинедельное перемирие, что и было принято. Затем, по инициативе России, была созвана в Стамбуле конференция держав, открывшаяся в день объявления конституции. Конференция разошлась 8 января 1877 года, ничего не достигнув. К этому времени Россия закончила последние приготовления: стянула свои армии в Бессарабию, откупилась от Австрии ценою согласия на занятие последней Боснии и Герцоговины. 12 апреля 1877 года Александр II, лично прибыв в Кишинев, подписал там манифест, возвещавший его подданным, что русским армиям приказано вступить в пределы Турции.

Русские войска переправились через Дунай и, тесня турецкие арьергарды, с боем продвигались в глубь Болгарии.

Первые месяцы, как это всегда бывает во время войны, в Турции, под влиянием шовинистической пропаганды, царил патриотический подъем и воодушевление.

На мгновение было забыто отчаянное внутреннее положение страны, грабежи и притеснения правящей верхушки, – все думали лишь о спасении родины от внешнего врага.

Слабость и высшая степень разложения империи были всем известны, но все же хотелось надеяться на победу. Недавние успехи в сербской войне способствовали этим иллюзиям. Шла запись добровольцев, среди которых было довольно значительное количество христианской молодежи; поступали материальные пожертвования со всех концов страны.

После удаления Зии и изгнания Мидхата единственным крупным вождем либералов оставался Намык. Зная его популярность среди широких кругов молодежи, часть которой была сейчас в армии, правительство не решалось его тронуть, боясь осложнений. Желая показать ему свое расположение, Абдул-Хамид распорядился даже назначить его членом созданного в начале войны «Комитета военного общества», через который проходила притекавшая от населения материальная помощь. Но по мере того, как несчастная война отвлекала внимание общества, султан и его камарилья имели все меньше причин откладывать свою расправу с неугодными им лицами.

Надо сказать, что и Намык Кемаль не сидел сложа руки. Если в период краткого царствования Мурада и по восшествии на престол Абдул-Хамида его болезнь и работа по выработке конституции, которой он отдал всего себя, почти совсем удалили его с арены открытой политической борьбы, то после объявления войны он вновь со всей страстностью своей натуры ушел в работу сплочения своих единомышленников и подготовки кадров для новых битв с режимом.

Есть основание полагать, что к этому времени началась коренная ломка его мировоззрений. До сих пор его политические горизонты были всегда сужены рамками умеренного монархизма. Без династии Османов, символизировавшей всю мощь и всю славу мировой империи, связывавшей в качестве носительницы калифата все подвластные Турции, далекие ей по расе и по национальности, мусульманские народности, довлеющей благодаря своей теократической власти над умами отсталых элементов, он не мыслил себе существование Оттоманской империи. Теперь он воочию убедился, что никакой сверхъестественной мощью династия не обладала. Это был мираж, созданный веками мракобесия и невежества. Имя потомка Османа и звание калифа были равно не способны дать стране малейшую победу и прекратить восстания против турок покоренных мусульманских племен. Поэтому не лучше ли, чем искать спасения в «добрых, либеральных» султанах, вообще покончить с монархией и сделать из Турции республику.

Конечно, эти мысли он не может высказать в придушенной турецкой прессе, но он довольно открыто Проповедует их в

широком кругу людей, с которыми встречается. Все упорнее и настойчивее проводит он мысль, что с Абдул-Хамидом должно быть поступлено, как с двумя его предшественниками.

Правительство давно уже знает через шпионов о деятельности Кемаля, но не решается отделаться от него административным арестом или ссылкой. Абдул-Хамиду хочется придать этому какие-либо формы законности. Знакомому нам Дамад Махмуд-паше поручается состряпать судебный процесс, дабы показать, что султан не намерен игнорировать недавно провозглашенную, хотя и сданную уже в архив, конституцию.

Приказание султана выполнено. Одному из агентов Дамад-Махмуда, греку Костаки, удается проникнуть в окружение Кемаля, и через короткое время перед Абдул-Хамидом лежит калиграфически написанный лист «журнала» (как по старой турецкой терминологии называется донос), в котором подробно описывается, как в собрании единомышленников Кемаль, под громкие аплодисменты присутствующих, прочел известный арабский стих:

Там, где случается два, не обходится без третьего.

В своем доносе грек рассказывает, что этот прозрачный намек на то, что после свержения двух падишахов наступила очередь третьего, был с энтузиазмом встречен собранием. Не забывает он сказать и то, что вся деятельность Кемаля направлена сейчас к созданию движения в пользу республики. Султан удовлетворен: этих фактов вполне достаточно, чтобы инсценировать судебный процесс и надолго запрятать в тюрьму ненавистного ему и опасного для режима человека.

«Мне было тогда девять-десять лет, и я учился в военной школе „Фатих-Рюштие“», – рассказывает в своих воспоминаниях сын Намык Кемаля, Али Экрем.

«Однажды вечером, вернувшись домой, я нашел отца в грустном настроении. Он ничего не говорил, но видимо нервничал. Немного спустя, в двери постучали. Это был наш родственник – жандармский начальник Киазим-бей. Отец сказал мне:

– Уйди, Экрем.

Но я ни за что не хотел выйти из комнаты. Наконец, отец согласился, чтобы я остался. Мне показалось, что он даже был доволен моей настойчивостью, в результате которой я сделался свидетелем происшедшей далее сцены.

Поздоровавшись, Киазим-бей сказал:

– Я пришел забрать тебя, Кемаль. Для твоего ареста должны

были послать жандармов, но я убедил начальство, что этого не нужно. Соберись поскорее и пойдем.

– Куда мы пойдем? – спросил отец.

– В тюрьму.

– Скажи, а что со мною будет? Я по крайней мере хотел бы зайти проститься с отцом.

– Я только-что видел Мустафу-Асыма и предупредил его. Что касается того, что тебе будет, – я сам не знаю. Во всяком случае, наверное, опять пошлют куда-нибудь.

С этими словами Киазим вышел с отцом и отвел его в тюрьму».

Намык Кемаль просидел несколько месяцев в предварительном заключении в тяжелых условиях турецкой тюрьмы, а затем предстал перед судом.

Абдул-Хамид и дворцовая камарилья были уверены, что судьи, зная, насколько султан заинтересован в приговоре, постараются удовлетворить все его желания. Однако случилось совсем иное. Под влиянием председателя суда – Сами паша-заде Супхи-паши, человека по-своему честного и весьма независимого, Намык Кемалю был вынесен оправдательный приговор. Это было настоящей пощечиной Абдул-Хамиду. В обществе впечатление от этого приговора было такое же, как в России после оправдания Веры Засулич, стрелявшей в Трепова.

В либеральных кругах, а особенно среди молодежи, в студенческой литературной среде оправдание вызвало настоящий энтузиазм. Имя Кемаля не сходило с языка, хотя прессе было строжайше запрещено писать обо всем этом. Смелость судей произвела впечатление на дворец. Там не знали, что делать, на что решиться; покамест же, несмотря на оправдательный приговор, было дано распоряжение Намык Кемаля из тюрьмы не выпускать. Он просидел в ней еще пять месяцев после суда, пока во дворце придумывали, как с ним поступить. Наконец кто-то дал благой, понравившийся султану, совет: выслать его на остров Митилены в качестве «чиновника-поселенца».

Выражение было весьма удачным, так как формально не было употреблено слова «ссылка» и поселенцу было даже назначено жалованье от казны. Вместе с тем такое поселение нисколько не отличалось от ссылки.

Был разгар русско-турецкой войны. С театра военных действий приходили плохие вести. Русские заняли важнейшие шипкинские перевалы на Балканском терном хребте, и, несмотря на суровую зиму, на ужасные условия, в которые была поставлена русская армия своими горе-генералами и ворами интендантами, она упорно защищала горные проходы против штурмовавших их

корпусов Сулейман-паши.

Стамбул был переполнен людьми, бегущими перед стяжавшей себе печальную славу грабежами и насилиями русской армией и от зверств болгарских четников, жестоко мстивших теперь без разбора мирному мусульманскому населению за погромы и резню, которые устраивали турецкие черносотенцы. Дворы мечетей, площади, базары не вмещали этих несчастных нищих людей, бросивших на произвол судьбы свои дома и поля и спасавшихся по большей частью в чем были. Они жили подаянием, ночевали под открытым небом; старики, женщины, дети – болели, умирали. Это было страшнее самой войны. Растерянное правительство и не думало об организации какой-либо помощи. Беженцы были предоставлены самим себе и милосердию стамбульского населения.

Покидая Стамбул, Кемаль с грустью наблюдал эти ужасные сцены. Он вспоминал свою жизнь в Болгарии, турецкие деревушки в окрестностях Софии, утопавшие в розовых садах, трудолюбивое население, из которого выжимали последние соки, но которое все же имело свой кров, свой насиженный уголок, кусок хлеба. Теперь изможденные, одетые в грязные лохмотья, они протягивали за жалким подаянием исхудавшие руки.

Это было его последнее впечатление от любимого им Стамбула. Больше сюда он не вернулся.

Для расшатанного тяжелым тюремным заключением здоровья Кемаля ссылка на Митилены была спасением.

Митилены – в древности Лесбос – один из крупнейших островов Эгейского моря. К востоку от него, на анатолийском берегу, от которого он отделен проливом километров в 20–30, высятся знаменитые развалины древнего Пергамского царства. К северу анатолийский берег образует выступ, и его горный хребет Каздаг, за которым когда-то лежала Троя, защищает его от северных ветров. Здоровый климат и пышная растительность делают его одним из прекраснейших мест Архипелага.

Остатки блестящей древней цивилизации, живописнейшая природа, яркое солнце, сверкающее тысячами огней море, воспоминания о поэтическом прошлом острова, где когда-то жила великая поэтесса древности Сафо – все это было бы для Кемаля источником счастливейших переживаний и новых поэтических вдохновений, если бы его ум не был всецело занят несчастьем, постигшим его родину. Для него было тяжело сидеть сложа руки здесь, среди этой прекрасной природы. Он рвался к новой борьбе с деспотизмом, в котором он видел единственный источник всех бед и ужасных жертв, которые несла Турция.

Он не умел отчаиваться, он твердо верил, что наступит день,

когда «фея-свобода», единственно кому он слагал свои оды, осенит своими крыльями его отечество, хотя и знал, что ему не дожить до этого дня. Он говорил своему сыну: «Я не увижу того дня, когда падишахом нашей страны будет закон свободы, но ты безусловно доживешь до него».

Семья Кемаля переехала к нему на Митилены. Положение «поселенца» оставляло ему много свободного времени, и он вновь с жаром погрузился в свои литературные работы.

Здесь были написаны роман «Джезми» и пьеса «Джелаль». Свободное от литературы время он проводил за чтением. Свою накапливаемую с юношеских лет и значительно пополненную во время пребывания за границей библиотеку он перевез на Митилены. От времени до времени друзья присылали ему вышедшую в Стамбуле новую книгу. Тогда он с жадностью набрасывался на нее. Почти каждый день он посвящал чтению 8—10 часов.

«Я больше всего люблю писать, – говорил он, – но, к сожалению, писание мешает чтению; ах, если бы можно было то и другое делать в одно и то же время!»

Кемаль не мог сидеть без дела. Где бы он ни был, – в изгнании, в ссылке, в тюрьме, – он все время посвящал работе. В своих дневниках он записал:

«Бездельник старится еще в молодости, ибо минута времени, проведенного без дела, длиннее часа».

Разве могла эта стоячая провинциальная жизнь, это вынужденное пребывание вдали от тех мест, где может быть решалась участь родины, удовлетворить эту кипучую энергию, этот темперамент борца?

Мысли Кемаля непрерывно несутся к Стамбулу. Тайными путями он поддерживает оживленную переписку со своими старыми друзьями и единомышленниками. Несмотря на страшнейший разгул реакции, он не предается отчаянию и пессимизму. Он отдавал себе отчет, что тот беспросветный гнет, в котором находилась Турция, будет тянуться годами, но в то же время он знал, что положить предел этому можно лишь борьбой. И он не прекращает этой борьбы.

Писать под своим именем ему нечего было и думать, но друзья помещают его статьи, стихи и другие произведения под псевдонимом в различных газетах. В своих письмах к друзьям он громит правительство, людей, которые ввергли Турцию в ужасную катастрофу, но во всех его письмах и статьях красной нитью проходит вера в силы турецкой нации, в то, что никакой враг, внутренний и внешний, не способен убить его страну, его родину.

Его сын Экрем, который был тогда еще ребенком,

рассказывает:

«Однажды вечером мы с отцом, с которым я тогда ни за что не хотел разлучаться, сидели грустные в своей комнате. Вдруг с шумом хлопнула входная дверь, и мы услышали на лестнице звук шагов. Затем в комнату вошли три человека. Я не помню уже сейчас, кто это был, я не запомнил их имен; если бы сейчас я вновь увидел их, то не узнал бы, так стерли годы память об их лицах.

Посетители выказали отцу знаки самого большого почтения и теплого чувства. Здороваясь с ним, они целовали ему руки.[97]

Из их слов я понял, что они ехали из Стамбула и воспользовались короткой остановкой парохода у Митилен, чтобы навестить отца.

Понятно, что разговор сейчас же перешел на бедствия родины и на те опасности, которыми грозила стране политика правительства.

Я тихо сидел в углу, стараясь понять смысл их речи. Вначале отец молчал, говорили лишь посетители. По их словам, все было кончено, Турция погибала, отечество испускало последний вздох, для него не оставалось никакого будущего. После всего этого было бесполезно не только стараться что-либо сделать, но даже печалиться.

Отец все слушал, не говоря ни слова. Но только лишь кончили говорившие, он вскочил с места. Его лицо покраснело от гнева, глаза горели. Он набросился на собеседников, как на врагов. Он приводил примеры из истории, из жизни народов, сыпал философскими сентенциями, доказывая, что Турция не погибнет и обязательно будет продолжать существовать.

– С нашей родиной даже древние фараоны не смогли бы справиться. Даже шайтан не сможет уничтожить наш народ, – кричал он.

Пароход готовился к отплытию. Посетители быстро попрощались и ушли. Тогда отец обернулся ко мне:

– Сынок Экрем, не чудаки ли эти люди, которые только-что отсюда вышли, думающие, что наш народ не переживет всего этого и погибнет. Они уверены в этом. По их мнению, у нас не осталось больше никаких средств. Война, шпионаж сыщиков, распущенность разъели турецкую нацию, иссушили ее до костей, погубили ее. У нас якобы уж не осталось более ни крови в жилах, ни духа в груди. Так нравится воображать этим господам. Но, сынок мой, будь уверен, что эти люди не видят далее кончика своего носа. Все их слова бред и глупость. Ты еще мал и неразумен. Если я буду тебе сейчас доказывать, – ты не поймешь. Я скажу лишь одно: верь своему отцу. Наша родина не умрет и

спасет сама себя. Она добьется свободы. Кто бы тебе что ни говорил – не верь. Верь лишь мне. Нет сомнения, что придет день, когда народ будет властвовать в нашей стране. Возможно, что я уже не увижу этого дня, Экрем, но ты увидишь его. Ты будешь одним из тех, кто понесет знамя свободы».

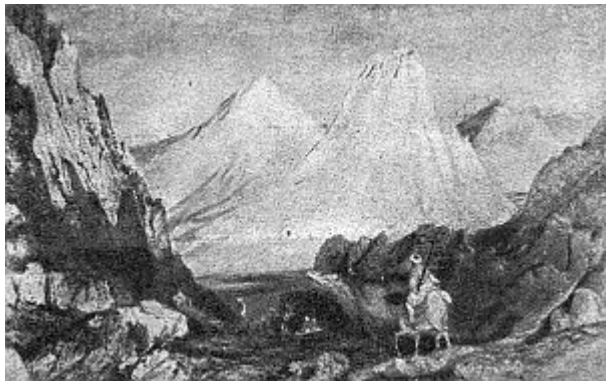
Первый турецкий парламент открылся 19 марта 1877 года.

Выборными правами номинально пользовались все подданные империи, достигшие 25 лет и владевшие каким-либо имуществом; военные, кроме того, должны были иметь по крайней мере младший офицерский чин. Но реакционная клика и полиция султана работали энергично. Когда депутаты сошлись в небольшом зале дворца, предназначенного для заседания парламента, по обилию белых и зеленых чалм, расшитых золотом мундиров и густых генеральских эполет, можно было судить, что преобладающее большинство депутатов принадлежит к крупному феодальному землевладению, духовенству и высшей военно-бюрократической верхушке. Лишь среди христианской трети палаты преобладала крупная буржуазия.

Парламент оказался послушным орудием в руках дворца. В тех редких случаях, когда кто-либо хотел высказать независимое суждение, председатель, Вефик-паша, бесцеремонно обрывал оратора громким криком «сус» (молчи). Но и такой парламент все же был бельмом на глазу Абдул-Хамида и его приспешников. После 20 заседаний он был распущен.

Второй парламент был созван в самом разгаре войны. Его состав был более буржуазным. Война и сопровождавшие ее неудачи на фронтах, злоупотребления генералов, произвол администрации, углубление экономического кризиса повели к бурным прениям в парламенте. Буржуазное крыло пользовалось военными неудачами для ожесточенной критики всей политики правительства. Среди ораторов особенно выделялись: Сулейман-паша, к которому перешло теперь руководство младотурками, адрианопольский депутат Расим, смирнский – Бенефия-заде и представитель ремесленного Стамбула – Ахмет-эфенди.

Правительство ждало лишь благоприятного момента, чтобы покончить с этим положением. Прикрываясь грозящей стране опасностью, Абдул-Хамид распустил парламент, когда русские армии приблизились к стенам Стамбула. Часть депутатов была арестована, некоторые из них, отправленные в ссылку, умерщвлены на пароходе.



Дорога через Балканы.

Конституция была полностью сдана в архив. Формально Абдул-Хамид не отменил ее, – в течение 30 лет она печатается в официальных ежегодниках, но ни один пункт ее более не выполняется.

Так закончилась краткая «конституционная весна» Турции.

Вести с театра военных действий были все хуже и хуже. Русские генералы, после ряда кровавых неудач, устлали трупами «серой скотинки» холмы вокруг Плевны, но все же взяли крепость, несмотря на геройскую отчаянную защиту оставленных на произвол судьбы, не получавших ниоткуда помощи турецких «мехмеджиков».

Было уже чудом, что Турция могла так долго задерживать наступление русских. Жизненные силы нации оказались все же огромными. Фуад-паша когда-то метко сказал одному европейскому дипломату: «Доказательством силы Турции служит то, что как вы ни стараетесь разрушить ее извне, а мы сами – изнутри, она все же продолжает жить».

Теперь громадная русская армия, не встречая нигде сопротивления, катилась от Балкан по цветущим болгарским долинам, опустошая все на своем пути, к жизненному центру, к самому сердцу Турции – Стамбулу.

Еще несколько форсированных маршей, и она стояла у ворот Стамбула, старого Царьграда, предмета самых заветных вожделений русского империализма.

В правительстве Высокой Порты царила невообразимая паника. О защите страны больше никто не думал. Абдул-Хамид и его камарилья помышляли лишь о спасении своей власти, которой угрожали уже не столько русские завоеватели, с которыми в конце концов можно было помириться на тех или иных условиях, сколько все усиливающееся брожение среди беженцев и в армии, где все единодушно видели в правительстве

источник всех бедствий.

Но успехи русского оружия напугали Англию и Австрию. Там ясно понимали теперь, что русские армии, стоящие под Стамбулом, являются хозяевами положения, что Абдул-Хамид ради спасения своего трона готов пойти на любую жертву, на любые уступки русским. Хотя еще перед войной Александр II заверял честным словом англичан, что захватывать Константинополь он не намерен, но теперь этому плохо верили, особенно в виду подозрительных комментариев русской дипломатии, которая разъясняла заверения царя в том смысле, что они касались окончательного завоевания столицы османов, а не ее временной оккупации.

Английская эскадра уже прибыла в Босфор, и теперь для русских каждый дальнейший шаг вперед означал войну с Англией.

3 марта 1878 года был заключен известный Сан-Стефанский мир. В силу этого договора Турция соглашалась на образование обширного автономного Болгарского княжества, которое номинально было в вассальной зависимости от султана, фактически же должно было стать «задунайской губернией» России.

Однако допустить такое положение было не в интересах европейских держав. Даже Германия, на «верность» и «благодарность» которой так рассчитывал Александр II, присоединилась к тем, кто требовал от России умерения аппетитов.

Берлинский конгресс, собравшийся 13 июня 1878 года, коренным образом изменил условия Сан-Стефано. Болгарское княжество было значительно урезано, и были приняты меры, чтобы оно не стало русской губернией. Россия получила лишь компенсации в Азии, где ей отдали Батум и Каре. В награду за «дипломатическую помощь» Турция отдала Англии Кипр. Так закончилась война, приведшая Оттоманскую империю на два шага от полного крушения.

Во время войны Мидхат-паша и за границей не оставался в бездействии. Несмотря на свое положение изгнанника, он продолжал пользоваться большим авторитетом в официальных кругах Европы. Зная, что русские успехи больше всего бьют по интересам Англии, он направлял все свои усилия, чтобы склонить эту последнюю вмешаться, пока не наступила еще роковая развязка.

В Лондоне ему было оказано большое внимание всесильным д'Израэли,[98] с которым у него были прекрасные отношения. В

Вене он был дружественно принят императором Францем-Иосифом. В обеих столицах ему обещали посредничество, если турецкое правительство согласится на него. Но Абдул-Хамид, которого приводило в ярость, что Мидхата принимают в Европе, как-будто это не опальный чиновник, почти государственный преступник, а чрезвычайный посол или даже руководитель политики Порты, не хотел и слушать об этих предложениях. «После побед, одержанных турецкой армией, – заявлял он, – тот, кто говорит о мире, не заслуживает имени патриота».

Это было незадолго до падения Плевны.

Инспирированная дворцом реакционная пресса подняла бешеную кампанию против Мидхата, обливая его потоками грязи, но в турецком обществе популярность бывшего великого визиря начала вновь расти. Видя это, Абдул-Хамид решил заманить Мидхата в Турцию.

В ноябре 1877 года Мидхат получил письмо от главного церемониймейстера двора – Киамиль-бея:

> Светлость,
>
> Его величество спросил меня недавно о вашем положении. Я ответил ему, что, печальный и убитый, вы ведете жизнь странника и живете займами. Его величество, крайне тронутый, пролил несколько слез и соблаговолил подарить вам на первое время 1000 лир для ваших самых неотложных нужд, прося хранить это в величайшем секрете. Его величество добавил при этом: «бедный человек был обманут»…
>
> Киамиль.

Но купить Мидхата было нельзя. Он ответил гордым письмом, в котором категорически отказывался от денег, и писал, что «печальными и убитыми могут считаться те, кто довел страну до гибели».

Однако эмиссары султана продолжали свою работу. Им удалось убедить Мидхата, что его возвращение нужно стране и что, может быть, оно заставит султана изменить всю свою политику. Не обращая внимания на благоразумные советы друзей, убеждавших его остерегаться султана, Мидхат решил вернуться, говоря, что он предпочитает умереть на родине, чем жить вдали от нее.

14 сентября 1878 года посланный за ним броненосец привез его на о. Крит, в то время как императорская яхта «Фуад» перевозила туда же из Стамбула его семью.

На Крите изгнанника встретили, как триумфатора.

Население заполняло пристань и кричало: «Да здравствует

Мидхат!» Иностранные военные суда, находившиеся на рейде, салютовали ему орудийными выстрелами.

Эта встреча произвела на султана самое дурное впечатление. Через два месяца Мидхат был назначен генерал-губернатором Сирии.

Пребывание Мидхата наместником Сирии только еще больше увеличивало ярость и беспокойство Абдул-Хамида. Под управлением Мидхата положение провинции начало быстро улучшаться. Как и повсюду, он боролся там с феодалами и покровительствовал буржуазии. Он строил дороги, мосты, каналы, проводил трамвайные линии, создавал промышленные общества и судоходные компании. Стамбульское правительство всячески старалось помешать его деятельности. На все предложенные им административные реформы накладывается вето, а вместе с тем на все его просьбы об отставке ему категорически отказывают.

Растущая популярность Мидхата в Сирии, где каждое его появление на улицах превращается в демонстрацию с криками: «Да здравствует Мидхат!», поездка к нему на свидание в Дамаск английского посла Лаярда, муссируемые его врагами слухи, что он замышляет обратить Сирию в независимое княжество, – заставляют Абдул-Хамида перевести его губернатором в Смирну. Одновременно в Стамбуле заканчиваются последние приготовления к постановке той мрачной трагикомедии, которой завершилась жизнь одного из замечательных турецких деятелей эпох Танзимата и конституции. Для этого Абдул-Хамид вытаскивает на свет дело пятилетней давности – «самоубийство» Абдул-Азиса.

Мы помним, что созванный немедленно после смерти низложенного султана врачебный синклит запротоколировал версию самоубийства. Но протокол был составлен в таких осторожных выражениях, что при желании заключения врачей можно было взять под сомнение. Он гласил:

> «Нам были показаны весьма острые ножницы, запачканные кровью. Нам ***сказали***, что бывший султан нанес сам себе описанные выше раны…
>
> Вследствие этого мы высказываем мнение, что инструмент, показанный нам, ***может*** безусловно нанести эти раны».

Теперь внезапно были найдены свидетели, заявляющие, что они видели, как убивали султана. Другие, прельщенные наградами или под жестокими пытками, оговорили себя как физических исполнителей убийства и показали, что его

вдохновителями были Хуссейн-Авни, убитый через несколько дней черкесом Хассаном, два шурина султана, Махмуд-паша и Нури-паша, и, наконец, шейх-уль-ислам Хайрулла, великий визирь Мехмед-Рюштю и Мидхат. Впрочем, до поры до времени трех последних не называли, а именовали: «другие высокопоставленные лица».

Махмуд и Нури-паша были немедленно арестованы, стесняться с ними было нечего. По традициям Османов, расправа с родственниками была внутренним делом дворца. С Хайруллой дело обстояло сложнее. Арестовать и предать суду одного из высших иерархов корпуса улемов значило восстановить против себя могущественную духовную касту, которая не позволяла шутить своей привилегией неприкосновенности. Султан ограничился его ссылкой в южную Аравию, надеясь, что тамошний климат сделает свое дело.

Труднее всего было решить, как поступить с Мидкатом. «Отец турецкой конституции» пользовался большим влиянием как в стране, так и за границей. Его арест мог повести к выступлениям и наделать большого шума в Европе. Лучше всего было прикончить его в момент захвата под предлогом сопротивления. Потом можно было все свалить на самоуправство исполнителей, и даже арестовать их для вида. В Смирну были тайно посланы самые доверенные клевреты султана – флигель-адъютанты Хильми-паша и полковник Риза-бей, с целым отрядом помощников.

Через своих агентов Мидхат прекрасно знал о всех этих планах. Ему было известно, что один из его слуг, подкупленный убийцами, должен был произвести провокационный выстрел, что дало бы возможность перебить всех обитателей дома под предлогом самозащиты.

Получив телеграфное распоряжение Илдыза[99] действовать, Хильми-паша распорядился поджечь ночью несколько домов в одном из смирнских кварталов. Когда раздались звуки набата, он явился со своим отрядом в дом губернатора, якобы для принятия распоряжений. Но пока им отпирали, Мидхат вышел из дома через специально сделанную им потайную дверь.

Однако, на улице он убедился, что квартал оцеплен и что ему не удастся пройти в порт, где он должен был сесть на иностранный пароход. Он нанял извозчика и поехал во французское консульство, куда просил явиться и остальных консулов.

В это время в его доме происходили тщетные поиски. Хильми-паша не хотел верить, что добыча ускользнула от него. Он перерыл весь дом и искал документы, которые ему приказано

было доставить, даже если бы они находились в колыбели маленького ребенка Мидхата. Подкупленный слуга пытался произвести выстрел, но был схвачен одной из служанок, тут же упавшей мертвой. Весь так хорошо задуманный план рухнул.

Извещенное о случившемся правительство произвело нажим на французское посольство. Это последнее не желало ссориться с Портой из-за человека, который считался англофилом. Мидхату было предложено покинуть консульство. В тот же день он был арестован, посажен на пароход и увезен в Стамбул.

Недостаток места не позволяет нам останавливаться подробно на всех перипетиях суда над Мидхатом. Его держали под стражей и судили в том самом Мальтийском киоске, где одно время содержался Мурад. Абдул-Хамид присутствовал на заседаниях, скрытый за занавесью.

Европейская пресса уделила много места этому процессу, причем все симпатии европейского общественного мнения были на стороне обвиняемого. Мидхат держал себя гордо и независимо и отрицал право судить его в тех формах, как это происходило. Наконец, угодливые судьи вынесли смертный приговор.

Но волнение, вызванное как в Турции, так и за границей этим процессом, усиливалось. В английском парламенте запрос следовал за запросом: намерено ли английское правительство вмешаться в это позорное дело, чтобы предотвратить убийство невинного человека? Все это подействовало на Абдул-Хамида. Скрепя сердце, он заменил смертную казнь для Мидхата и обоих своих шуринов пожизненной ссылкой на юг Аравии, в оазис Тайф в Иемене.

«Зулюм» [100]

Куда, крича, летишь так быстро
Ты, стая черных журавлей?
Несешься ль ты с родного края?
Скажи, что там теперь случилось?
Тот край милее мне всех стран…

Турецкое народное стихотворение. [101]

Окончание войны развязало руки Абдул-Хамиду. Наиболее опасные элементы: разложенная поражением армия и громадные массы беженцев, стекшихся во время войны в Стамбул, мало-помалу покинули столицу, возвращаясь одни к своим семьям, другие к своим опустошенным битвами и оккупацией очагам. Критический момент, когда можно было ожидать взрыва народного отчаяния и гнева, был позади. Заново реорганизованная полиция, на которую во всем крайне скупой султан не жалел денег, и наиболее верные военные части позволили правительству стать полным хозяином положения. Все те, кого боялся Абдул-Хамид, кто мог сыграть ту или иную роль в движении против реакции, были мало-помалу один за другим обезврежены.

Его брат, низложенный полубезумный Мурад, живет под строгим караулом в холодных мраморных покоях Черагана, где всё полно воспоминаниями о «самоубийстве» Абдул-Азиса. К нему не допускают никого, его лишают всего необходимого и даже книг. Ему отведена комната, выходящая во внутренний двор, освещаемая лишь через застекленный потолок; даже окна других комнат нижнего этажа дворца, из которых виден Босфор, замурованы. В 1878 году, когда русские войска стоят у ворот Стамбула, Али-Суави делает безумную попытку освободить его, чтобы вернуть на трон Османов. С сотней вооруженных единомышленников, которые под видом поденщиков-беженцев работали над восстановлением рухнувшей позади дворца стены, он врывается среди бела дня в Чераган, но ему не удается склонить дрожащего от страха Мурада на авантюру. Прибывшая стража, дворца и посланный морским командованием отряд матросов окружают и перебивают до последнего дружинников Али-Суави, который сам гибнет вместе с ними на пороге покоя Мурада. После этой попытки пленника переводят в Мальтийский

киоск, за крепкие стены Илдыза, дворца-крепости, специально выстроенного Абдул-Хамидом, чтобы застраховать себя от всяких покушений.

Зия – в почетной ссылке, губернатором далекой Аданы, где, убитый невзгодами и крушением всех своих надежд и мечтаний, он не думает более ни о какой политической деятельности. Мидхат тоже б ссылке, Намык Кемаль томится «поселенцем» на Митиленах.

Таким образом все вожаки, все те, кто пользуются популярностью в тех или иных кругах, растасованы по разным углам, находятся под бдительным оком абдул-хамидовской полиции, реорганизации которой новый падишах посвятил все свои силы и заботы.

Однако Абдул-Хамида продолжают тревожить шпионские донесения о Намык Кемале.

Беспокойному ссыльному приписывают намерения бежать на одном из иностранных пароходов за границу, чтобы создать там новый эмигрантский центр борьбы с режимом.

Чтобы предотвратить эту возможность, султан уже готов вновь дать приказ об его заключении в тюрьму, когда бывший великий визирь Махмуд Недим, сам побывавший в короткой ссылке на Митиленах, видевшийся там с Кемалем, а теперь вернувшийся и назначенный министром внутренних дел, дает султану благой совет назначить Кемаля начальником Митиленского округа.

– Это будет самым верным средством помешать его бегству, – говорит он. – Как только он очутится на правительственной службе и будет думать, что сможет своей работой приносить пользу населению, он посвятит всего себя этому делу и откажется от мысли о побеге.

Совет был принят. Старая придворная лисица, Махмуд Недим, оказался дальновидным. Увлеченный мелкой повседневной административной работой, Намык Кемаль на время оставил мысль о бегстве. Он пробыл еще пять лет начальником округа на Митиленах.

Беспросветная атмосфера реакции начала побеждать его бурный темперамент. Его нравственные силы мало-по-малу истощились от всех поражений и невзгод. Энергия была сломлена, крепло мрачное убеждение, что его роль политического борца, патриота и новатора – кончена. Оставалась лишь мелкая деятельность провинциального администратора да личная жизнь.

Но и в этих ограниченных рамках он хотел остаться тем же Кемалем, честным, не способным на компромиссы, свято

хранящим идеи и заветы своей молодости.

Как мог, он старался облегчить положение населения своего округа, заботился о его нуждах, пресекал взяточничество чиновников.

Несмотря на свой высокий в провинциальной обстановке пост, он вел самый скромный образ жизни, весьма просто одевался, и когда ему, в силу служебных обязанностей, по торжественным дням приходилось натягивать расшитый позументами чиновничий мундир, он сам первый всячески издевался над этим одеянием, называя его «конской скребницей».

Он не злоупотреблял своим положением и попрежнему оставался бессребренником. Еще в молодости он обычно отдавал отцу почти все заработанные им литературным трудом деньги. Теперь он, как и раньше, посылал отцу весь остаток своего жалованья, хотя тот и не нуждался. Ни деньгам, ни вещам он не придавал никакого значения. Обстановка его дома была скромной почти бедной.

Единственное, что он любил, на что позволял себе тратить деньги, – были книги.

Его семья жила сейчас с ним. Подрастали дети, воспитанию которых он уделял большое внимание, стремясь сделать сына Экрема своим духовным преемником.

Старшая дочь была уже невестой. Кемаль выдал ее замуж за молодого человека – Менемели-заде Рифата, которого он давно полюбил, как сына.

Рифат принадлежал к тем кругам турецкой молодежи, у которой с Кемалем были тесные связи и которая видела в нем своего вождя, наставника и великого национального писателя. Когда Кемаля посадили в тюрьму, первый, кто явился к нему на свидание, сумев преодолеть все препятствия и преграды, был Рифат. Теперь он становился членом его семьи.

Годы шли тусклые, однообразные, безрадостные. Жизнь человека, созданного для больших дел, отмеченного печатью недюжинного таланта и наделенного кипучей энергией, протекала теперь в мелких служебных дрязгах и в застойной обстановке провинциального быта.

В городе, которым он управляет, у него нет друзей, ибо он не выносит глупцов, провинциальных невежественных мещан и не умеет скрывать своих чувств.

Как только к нему заходил кто-либо из провинциальных болтунов, которые не знают, что делать от Праздности, он, поздоровавшись небрежным движением руки, погружался в книгу. Собеседник садился и часами ждал какого-либо внимания, но Кемаль не произносил ни слова. Когда, наконец, непрошенный

гость уходил, Кемаль испускал глубокий вздох облегчения: «Ну и послал же аллах дурака на мою голову».

Он не оставляет литературных занятий, пишет романы, драмы, стихи, но печатать их удается с большим трудом.

Мало того, что придирчивая цензура ищет малейшего повода, чтобы запретить то или иное произведение крамольного писателя, ему становится все труднее найти издателей, так как сейчас гражданские мотивы, которыми проникнуто все то, что пишет Кемаль, вышли из моды. Лицо турецкой литературы, под влиянием удушливой атмосферы реакции, изменилось коренным образом. На смену гражданской поэзии романтиков – идеологов, только-что потерпевшей поражение в борьбе с абсолютизмом прогрессивной буржуазии, пришли парнасцы, мистики, декаденты, уходящие от беспросветности, в которую была погружена жизнь турецкого общества, в психологизм личных переживаний и в лирику, являющуюся обновленным и европеизированным изданием старой восточной поэзии.

Нити, связывающие Кемаля с той жизнью, которой он посвятил всего себя, мало-по-малу рвались. Его друзья частью перемерли, частью, как и он, были в более или менее замаскированной ссылке. Большинство давно уже отказалось от борьбы, уйдя в личную жизнь, или было куплено ценою какой-либо крупной чиновничьей должности.

В мае 1881 года в Адане умер Зия. Хотя он и занимал губернаторский пост, но всем было известно, что это лишь скрытая ссылка. С опальным поэтом боялись поддерживать знакомство. Кроме родных и самых близких, никто не шел за его гробом. Вначале на его могиле не было даже плиты с надписью. Это осмелился сделать лишь один из пылких поклонников его таланта, скромный чиновник налогового управления Хасан-Риза.

Когда весть о смерти Зии дошла до Кемаля, он горько заплакал. Вынул фотографию, на которой они были сняты вместе с Зией. Это было в ту эпоху, когда, примирившись после ссоры, вызванной появлением «Харабата», они работали вместе в Конституционной комиссии, во время обманчивой либеральной весны первых месяцев царствования Абдул-Хамид?.. Какими молодыми, счастливыми глядели они оба с этой фотографии!

Кемаль взял перо и, охваченный горьким чувством, напидал на обратной стороне карточки:

И далеки и близки Зия с Кемалем,
Как две мощные силы, пламя в том и другом,
В союзе мы громы в тиранов метали,
Идеей свободы мы им угрожали.

……..
Вернулся луч[102] к небу, и один на земле
Плачет Кемаль по любимой стране.

С Зией были связаны лучшие воспоминания: бурная молодость, так горячо и самоотверженно начатая борьба, литературная слава, розовые надежды на будущее. Теперь все это было в прошлом. Перед Кемалем гурьбой проходили воспоминания: молодой задор литературных полемик «Тасфири Эфкяра», прелесть первых нелегальных собраний, чувство гордости и отваги, охватывавшие его при мысли об участии в серьезном заговоре, жизнь в эмиграции с ее громадными новыми впечатлениями и неизбежной тоской по родине, литературная дуэль с Зией из-за «Харабата» и, наконец, последние встречи в Конституционной комиссии.

Зия сошел в могилу во цвете лет. Кемаль знал, что и ему самому не дожить до просвета; в сорок лет жизнь была кончена, оставалось влачить жалкое существование в этой глухой провинции, видеть вокруг себя сгущающийся мрак реакции с отчаянием наблюдать, как Турция заживо гниет под властью Абдул-Хамида, как в стране хозяйничают иностранцы, как беспощадно вытравливается всякое свободное слово.

Японские безделушки из слоновой кости

«Когда мы казним молодых, вы кричите „жалко“, когда казним старых, вы заявляете – „грех“. Но откуда же можно всегда достать для казни людей только среднего возраста».

Слова ХАЛЕТ-ЭФЕНДИ,[103] известного временщика при Махмуде II

Мидхат прожил два года в Тайфе, и Абдул-Хамид не находил себе покоя, ожидая каждое утро, что ему доложат о бегстве узника. Этот вечный страх султана, страдавшего вообще манией преследования, наконец победил все колебания и заставил решиться на тот шаг, о котором он непрерывно думал со дня своего восшествия на престол: в Тайф, как в свое время в Смирну, были посланы доверенейшие люди; туда летели секретнейшие приказы…

Осенью 1882 года жена Мидхат-паши получила следующее письмо:

«Моя дорогая жена, мои любимые дочери и дорогой сын Али-Хайдар!

Это письмо вероятно последнее, которое я вам посылаю, ибо, как я уже предсказывал в предшествующих письмах, от нас решили отделаться. Впрочем, нас уже пытались отравить.

Десять дней тому назад мой слуга Ариф, которому я поручил купить через одного офицера молоко, обнаружил, что оно отравлено. Четыре дня спустя, Ариф достал мясо, приготовил его вечером и оставил в своей комнате. Наутро мы обнаружили следы яда на металлических стенках кастрюли. Через несколько дней после этого была отравлена вода в кружке, из которой мы пьем. Все эти попытки были обнаружены благодаря бдительности нашего слуги. Они пробуют теперь другие средства. Мы окружены крайне опасными людьми, среди которых, в частности, находится черкес Бекир.

Сообщники этого последнего – три унтер-офицера, живущие с нами. Каждый день вали Осман-паше (губернатор Мекки), получившему жезл маршала за свои „услуги“, приходят из Стамбула новые страшные распоряжения. Нам угрожают самые ужасные опасности, самые коварные планы; я думаю, что нам не удастся спастись. Может быть еще до получения этого письма получите вы сообщение о моей смерти. В этом случае бесполезно сильно огорчаться. Пусть аллах простит нам наши грехи. Если нам предстоит такая смерть, не может быть большего счастья для нас, как погибнуть мучениками за святое дело.

Мое последнее желание, чтобы вы жили в мире, соединившись все вместе у семейного очага. Да защитит вас всемогущий.

Мидхат»

Жена Мидхата сообщила об этом английскому послу. Другие высокопоставленные английские друзья Мидхата пытались добиться его освобождения. Но султан не склонен был выпустить свою жертву. Узнав, что драгоман английского консульства в Джедде справлялся у великого шерифа Мекки[104] об участи Мидхата и получил заверения, что узник еще жив, Абдул-Хамид распорядился арестовать и заключить в тюрьму самого великого шерифа – старца, которому было тогда свыше 100 лет.

«Кровавый султан» Абдул-Хамид II.

Из пленников, заключеных в Тайфе, зять султана Нури-паша сошел с ума и умер; казнить бывшего шейх-уль-ислама Хайруллу

значило восстановить против себя всех улемов, все духовенство, – и трусливый Абдул-Хамид не решался на это; было решено отделаться от двух самых ненавистных султану лиц: Мидхата и зятя султана – Махмуда-паши.

26 апреля 1883 года все было кончено. Через несколько недель после этого семья Мидхата получила от Хайруллы-эфенди следующее письмо:

> «Вы должно быть уже знаете о его трагической смерти и тех обстоятельствах, при которых она произошла. Его светлость умер не от болезни, как об этом сообщали газеты. У него действительно был карбункул, но не злокачественный. На самом деле, в одну и ту же ночь и Мидхат-паша и Дамад Махмуд-паша были удавлены. Да почиет на них божественная милость и благословение.
>
> Я многое могу сообщить вам, но я не осмеливаюсь писать больше, ибо я боюсь наших палачей…
>
> Тайф (Аравия), 15 зильхидзе 1301 г.[105]
>
> Хассан-Хайрулла (бывший шейх-уль-ислам)».

Позже Хайрулла[106] сообщил семье все подробности этого убийства.

После того, как несколько попыток отравить пленников кончились неудачей, палачи решили покончить с ними другим путем, но прежде они сделали еще одну попытку кончить дело без шума. Полковник охраны вызвал к себе слугу Мидхата, Ариф-агу, и пытался подкупить его:

– Яд готов; если тебе удастся дать его выпить Мидхат-паше, ты получишь большую награду от его императорского величества султана; отравить Махмуда-пашу поручено другому, но если бы ты взялся и за это дело, твоя награда будет удвоена; если же когда-нибудь ты откроешь секрет, – ты будешь убит.

Награда, которую предлагали за убийство Мидхата, была в 1000 турецких лир, и 600 лир за убийство Махмуд-паши. Целое состояние для бедного слуги, почти раба.

Но Ариф-ага не только с негодованием отказался, но поспешил сообщить обо всем Мидхату. Узники долго совещались, но выхода не было никакого. Прошло еще несколько дней; из дворца Илдыз-киоска летели срочные телеграммы, требовавшие немедленного исполнения распоряжений.

Полковник вновь вызвал Арифа-агу и стал убеждать его открыть ночью дверь комнаты, запиравшуюся изнутри, но слуга в отчаянии повторял: «Нет, я не сделаю этого, я не согласен быть вашим сообщником, я боюсь аллаха». Тогда на Ариф-агу

набросились и стали его избивать, но ему удалось еще крикнуть Мидхату, возвращавшемуся в свою комнату:

«Хозяин, не ходите в комнату, оставайтесь ночью с остальными, они решили убить вас сегодня», после чего его арестовали и подвергли жестокой пытке.

Мидхат поднялся обратно по лестнице, собрал остальных пленников и сообщил им о предстоящей ему участи.

Только хитростью удалось развести к ночи заключенных по их камерам: полковник поклялся им, что им нечего опасаться. А во второй половине ночи в комнату Мидхата ворвались вооруженные солдаты.

Они выволокли оттуда второго заключенного, Али-бея, после чего спокойно удавили веревкой Мидхата, не способного оказать какое-либо сопротивление.

Махмуд-паша, наделенный громадной физической силой, пытался бороться, когда выломавшие дверь его камеры охранники стали накидывать ему на шею намыленную веревку. Видя, что с ним трудно справиться, палачи стали давить ему половые органы с такой силой, что его безумный рев всполошил всю тюрьму. Другие заключенные бросились к окнам своих камер и, потрясая решетками, осыпали проклятиями исполнителей воли султана. Наконец, все было кончено. Завернутые в простыни тела были наскоро перенесены в военный госпиталь, чтобы потом можно было сказать, что оба умерли от болезни. Но зять Абдул-Хамида был еще жив. Внезапно он поднялся, сделал несколько шагов и снова упал. Тогда убийцы вернулись и так тщательно закончили свою работу, что лицо трупа стало неузнаваемо. Наутро без всяких религиозных обрядов тела были зарыты на солдатском кладбище, за городскими стенами. Сейчас же после убийства, двери и замки камер были починены. Вещи убитых были снесены в одну из комнат казармы, но в течение двух дней агенты султана приходили и забирали то одну, то другую вещь поценнее.

Так закончилась жизнь «отца турецкой конституции».

Мидхат был мертв; султан получал заверение за заверением, что его приказание исполнено в точности; но эта подозрительная, беспокойная натура не могла успокоиться, не имея осязаемых доказательств.

В Тайф был послан один из любимцев падишаха, адъютант Хюсню-паша, который с несколькими подчиненными ночью раскопал труп Мидхата и отрезал ему голову.

Месяц спустя – путь из Тайфа не близкий – Эмин-эфенди, секретарь геджасского вали, прибыл в Илдыз-киоск с изящным ящиком, на этикетке которого значилось:

Японская слоновая кость. Художественные безделушки для его величества султана.

Ящик был открыт самим султаном. На этот раз падишах и повелитель правоверных имел, наконец, реальные доказательства, что его верные слуги в точности выполнили его приказание.

Последний путь

В моем служении нации я был верен и постоянен до гроба,
Пусть память о моей жертве будет жива в сердце народа.
Придет день, когда победит наш идеал,
И, если не останется надгробной плиты Кемаля,
Все же останется его имя.

НАМЫК КЕМАЛЬ

После пятилетнего пребывания начальником округа на Митиленах Кемаля, по жалобе местных греков, для компрадорской деятельности которых он являлся помехой, перевели на о. Родос.

Можно ли представить себе более злую насмешку судьбы: самые печальные, самые безрадостные годы своей короткой жизни Кемалю пришлось провести в наиболее поэтических, наиболее прекрасных уголках вселенной.

Тюрьма на Кипре, ссылка на Лесбосе и полуссыльное существование, омраченное физическим угасанием и сознанием своего бессилия помочь родине, – на Родосе.

Со всех концов мира сюда стекались богатые праздные туристы, чтобы пожить среди этой дивной природы, подышать воздухом, напоенным ароматами редких цветов и растений, полюбоваться морем и берегами, перед которыми бледнеют красоты Неаполя, осмотреть величественные руины средневековья, овеянные романтическими легендами.

Финикияне поклонялись здесь Гелиосу,[107] принося светозарному богу щедрые дары из тех богатств, которые их знаменитая торговля выкачивала из всех прибрежных стран Средиземного моря. Великий скульптор древности Харес Линдосский воздвиг здесь свою колоссальную статую Аполлона, высотой свыше 30 метров – одно из семи чудес света: богатое купечество древнего Родоса не жалело денег, чтобы создать в своем порту новую притягательную силу для всей морской торговли Ближнего Востока.

Здесь были знаменитые школы красноречия, поэзии, живописи и скульптуры, оставившие потомству славные имена Эсхина Афинского, Аполлония Родосского, Панетиоса, Протогена.

Римляне и византийцы, сарацины и генуэзцы вели кровопролитные войны за этот цветущий остров, занимающий господствующее положение в Архипелаге и в восточной части Средиземного моря. В начале XIV века им овладел рыцарский орден «госпитальеров Иоанна Иерусалимского», сделавший его передовым оплотом европейцев против мусульманского Востока и центром морского разбоя на путях восточной торговли.

За два века владычества рыцари возвели здесь монументальные постройки: неприступные замки, мрачные готические церкви, украшенные химерами и мифическими зверями, зубчатые генуэзские башни и стены, которые, казалось, должны были простоять до скончания веков. Но в 1522 году, при Сулеймане Великолепном, отвага янычар и прекрасная турецкая артиллерия сломили отчаянное сопротивление разноплеменных рыцарей, предводимых Великим Магистром – знаменитым Вилье де-Лиль-Адам. Госпитальеры должны были удалиться на остров Мальту, который даровал им император Карл V, а Родос сделался новой драгоценной жемчужиной в короне Оттоманской империи. После этого он знал еще короткое процветание, а затем разделил общую судьбу империи, чтобы стать мертвым городом, обширным музеем средневековья, окаменевшим воспоминанием о былой славе.

В ажурных готических башнях, в знаменитых «гостиницах», украшенных гербами с затейливой геральдикой, где собирались за традиционными трапезами рыцари Прованса, Оверни, Франции, Италии, Аррагона, Англии, Германии и Кастилии, теперь ютились лачуги городской бедноты. Во дворце Великого Магистра, когда-то поражавшем своей роскошью, была устроена каторжная тюрьма. На монументальных каменных плитах, которыми несколько веков тому назад были вымощены площади, расположились жалкие базарчики мелкого восточного городка. Как тени прошлого, проходили в своих черных нелепых сутанах и высоких безобразных колпаках греческие попы. Великолепные, построенные для туристов, гостиницы, с мраморными террасами над морем, окруженные розовыми цветниками, были наглым вызовом городку, который жил в нищете.

Кемаль приехал на Родос совсем больной.

Последние месяцы на Митиленах тяжелое воспаление легких, осложненное длительным бронхитом, подорвало его силы. Смена обстановки, мягкий климат Родоса с его теплой зимой и умеренно-жарким летом, отсутствие сырых туманов благодетельно подействовали на его легкие. Он начал поправляться, посвежел, повеселел; прекратился мучительный кашель, от бронхита не осталось и следа; улучшился аппетит.

Окружающие и семья радовались.

Административных дел на Родосе, с его незначительным населением, было гораздо меньше, чем на Митиленах. У Кемаля оставалось много свободного времени, которое он посвящал семье, прогулкам по живописным окрестностям, а главным образом продолжению литературных работ.

Писать на политические или даже на литературно-критические темы в том духе, как он делал это некогда в «Ибрет», нечего было и думать: печать была окончательно задавлена придирчивой абдул-хамидовской цензурой. Газетам предлагалось давать преимущественно сведения о драгоценном здравии султана, о торжественных церемониях селямликов да о военных парадах. Несколько лет спустя цензура дошла до того, что запретила периодическим изданиям писать «продолжение следует», дабы «не смущать любопытством умы читателей». Известный турецкий литератор Ахмед-Расим в своих воспоминаниях рассказывает, как однажды полицейский увел его из редакции и притащил в дворцовую канцелярию. Секретарь султана в диком гневе тыкал ему в глаза газетный лист, где был напечатан крамольный стих: «И разве весна не придет?» – и осыпал его самыми ужасными ругательствами. Каждый раз, как молодой журналист хотел объясниться, сановник приходил в исступление и то выгонял его за дверь, то кричал ему: «Молчи, глаза вырву». Наконец, Ахмет-Расим сообразил и, вынув из кармана печатку со своим выгравированным на ней именем, молча протянул беснующемуся секретарю. От неожиданности тот приостановил на мгновение поток ругательств и прочел фамилию на печатке. Только тогда он понял, что к нему по ошибке привели другого, не имеющего никакого касательства к преступной фразе, и что он совершенно зря два часа орал на человека, который даже не понимал, чего от него хотят.

Султан, который долго не соглашался провести водопровод в свой дворец, так как кто-то из придворных внушил ему, что по трубам к нему могут проникнуть террористы с бомбами, относился со страшной подозрительностью к каждой печатной строчке.

Намык Кемалю оставалось лишь работать над тем трудом, мысль о котором он лелеял всю жизнь: над историей Турции.

Несмотря на то, что при османском дворе с незапамятных времен существовали официальные придворные историографы, полной истории Оттоманской империи в то время не существовало.

То, что задумал Кемаль, не может назваться научной историей Турции.

Идеолог либеральной буржуазии, он не мог подойти к своей работе с серьезным социологическим методом. В истории Турции он видел лишь смену великих и ничтожных султанов. Первые созидали камень за камнем величественное здание империи; если они совершали злые поступки, их можно было простить за ту славу, которую они дали стране; вторые – были деспотами, преследовавшими лишь свои эгоистические цели, угнетавшими народ, ведшими империю к гибели и разрушению. Это была наивно написанная, хотя и блестящая с литературной точки зрения, портретная галлерея турецких правителей, далекая от того, что принято понимать под словом история; но в глазах Кемаля это был важнейший труд, который должен был всегда напоминать соотечественникам о былой славе и, путем сравнения, показать обществу все ничтожество последних отпрысков Османа и всю пагубность их правления и политики.

Работа над этим произведением всецело заняла его мысли. Он окружил себя книгами, выписывал их из Стамбула, просил друзей об их присылке. Его библиотека доходила теперь до 1 300 французских и 400 арабских, иранских и турецких томов. Часто он тратил на покупку книг последние деньги, делая долги. Позже, на острове Хиосе, он узнал однажды, что в одной из греческих церквей находится старинная книга.

Попы были готовы дать ему для прочтения эту книгу, но требовали залог в 100 золотых. В это время у Кемаля не было таких денег, но искушение было слишком велико. Он с трудом достал в долг нужную сумму и, счастливый, ушел с драгоценным фолиантом.

Писать «историю» он начал давно, еще в Стамбуле, вскоре после возвращения из Магозы. Сидя в тюрьме, он писал отцу: «Когда будете посылать мне обед, заверните в салфетку и положите между тарелок черновик моей „Истории“. Я буду здесь над ней работать». Но только теперь он мог всецело отдаться этому труду. Он работал над ней днями и ночами, но по мере того, как работа подвигалась вперед, расширялись и его замыслы. Ему казалось, что его военная история Османов будет неполной, если он не предпошлет ей историю ислама до создания Оттоманской империи и даже историю Рима. Росла груда листов, покрытых красивыми арабскими строчками, написанными красными чернилами, которые так любил Кемаль. Ряд глав уже был готов к печати. Но в это время произошло событие, положившее конец его мирной жизни на Родосе.

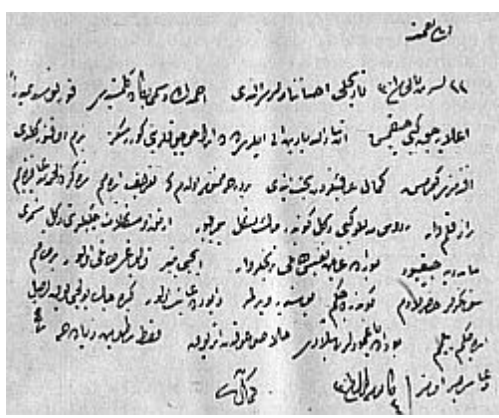
В один прекрасный день какой-то поручик из гарнизона крепости, подвыпив, зашел в английское консульство и стал там приставать к служанке. Банальное происшествие было раздуто

англичанами, ревниво охранявшими престиж своих капитуляционных привилегий, до размеров дипломатического инцидента. Посыпались грозные ноты, и Абдул-Хамид, менее всего расположенный ссориться с могущественным Джон Булем, уступил. Чтобы показать, что турки сами придают большое значение этому случаю, было решено перевести на Родос губернское управление, находившееся до того времени на о. Хиосе. Окружное же управление и, следовательно, Кемаля, перевели на Хиос.

Хотя Хиос находится все в той же чудесной лазоревой оправе Архипелага, что и Родос, но его климат совершенно иной. Здесь бывают резкие перемены температуры; воздух очень сырой. Уже с первых месяцев переезда здоровье Кемаля резко ухудшилось; вновь начался бронхит с его мучительным ночным кашлем. Усиленно разрушало организм Кемаля и вино, которое он пил сейчас в большом количестве, стараясь найти в опьянении забвение от гнетущей его тоски. Но работы над своей книгой он не оставлял. Одновременно он списывался со своим старым другом Эбуззия-Тефиком, работавшим в стамбульских газетах, и выяснял у него возможность издания своего труда.

Наконец, с большим напряжением закончив рукопись первого тома, он отослал ее в Стамбул. Но тут силы оставили его, и он слег.

Несколько дней он не поднимался с кровати, когда пришла радостная новость: Эбуззия-Тефик писал, что он приступил уже к печатанию предисловия. Немного спустя, он прислал и первую, отпечатанную отдельным оттиском, главу, сообщив при этом, что в течение нескольких дней книжка разошлась в количестве 2000 экземпляров.



Автограф Намык Кемаля. Письмо отцу.

Это был большой успех. Особенно радовало Кемаля, что даже

в удушливой атмосфере реакции его имя не было забыто.

Существовали еще какие-то тайные нити, связывающие его с тем, другим миром, куда ему уже не суждено было вернуться. Сверкнула радостная надежда: значит реакция не сумела задавить всякую мысль о борьбе, если имя ссыльного, ненавидимого султаном и правительством, заставляет набрасываться на написанную им книгу. Очевидно, где-то притаились сторонники, единомышленники, смена, которая готовится к новой борьбе с режимом насилия и произвола. Оправдывались слова, сказанные в одном из его стихотворений:

> И если свободе и музе я жертвую жизнью своей,
> То время настанет, и тысячу новых земля породит Кемалей.

Теперь история, над которой он работал, казалась ему особенно важной.

Этот труд будет читаться, пока существует Турция; его имя сохранится в потомстве, подобно имени Плутарха, и гражданские доблести новых поколений будут воспитываться на героических образах, созданных его пером.

Еще два-три года труда, и «история» будет написана. Но нужно усиленно работать, чтобы успеть закончить ее до смерти, близость которой он уже чувствовал. Теперь приступы лихорадки, легочные осложнения приходили все чаще и чаще. Простая неосторожность, прогулка в открытом экипаже в холодную погоду, укладывали его в постель на недели. Доктор Орнштейн – медик, лечивший Кемаля и пользовавшийся на Хиосе заслуженной репутацией, предупреждал семью, что значительную роль в быстром ухудшении здоровья писателя играет его подавленное мрачное настроение. «Оградите его от всякого раздражения, неприятностей, всяких нервных потрясений, и его организм справится сам с болезнью», – говорил он. И действительно, достаточно было получить из Стамбула радостное известие о выходе книги, как Кемаль буквально преобразился. Болезнь отступила перед этим возрождением оптимизма, энергии. Но, увы, это продолжалось недолго.

«Однажды, – рассказывает его сын Экрем, – вернувшись домой, я застал отца буквально убитым. Осунувшись, он сидел в кресле со смертельно побледневшим лицом и с трудом дышал.

– Что с вами, что случилось, вы больны?

Отец не отвечал; он молча взял со стола листок бумаги и протянул его мне. Это была расшифрованная телеграмма, полученная им от Секретариата дворца.

Старинным бюрократическим стилем, без точек и запятых, одним длинным предложением, там было написано:

> Его превосходительству Кемалю-бей эфенди начальнику округа Хиоса.
>
> Являющееся введением в Османскую Историю носящее название история Рима находящееся в печати великое произведение было представлено высокому взгляду его величества и удостоилось высочайшего одобрения но ввиду того что некоторые употребляемые там выражения и ряд слов будь они кем-либо превратно и двусмысленно истолкованы могли бы подорвать расположение к вам падишаха его величеством дано приказание о запрещении печатания указанной истории а также об изъятии всех уже отпечатанных экземпляров для чего вам надлежит немедленно дать указания кому следует и сообщить нам ожидаемый нами ответ об исполнении.
>
> Свиты его величества монарха Бесим».

Эта телеграмма была страшным моральным ударом. Но кроме того она влекла за собой и материальную катастрофу. В издание книги Кемаль вложил свои последние средства, влез в долги. Видя ее успех, он надеялся, что ему удастся не только оплатить расходы, но и обеспечить будущность горячо любимой семьи.

Теперь все эти надежды рушились. Мало того, приходилось задумываться, где достать новые средства, чтобы изъять еще нераспроданные экземпляры у книготорговцев, как требовал этого с рафинированной жестокостью султан.

Видя, как угнетающе подействовало все это на отца, Экрем пытался вызвать в нем какую-либо реакцию и уговорил его написать во дворец. Кемаль овладел собою и согласился на предложение сына. Он написал резкое письмо и послал его в Стамбул.

Проходили недели и месяцы, ответа не было. Илдыз молчал, как-будто зная, что дело уже сделано и теперь нужно только терпеливо выжидать неизбежного действия того ядовитого оружия, которым был нанесен смертельный удар.

Экрем попытался еще раз вырвать отца из состояния того безразличия, в котором тот находился, воздействуя на самые чувствительные его струнки.

– Отец, – говорил он, – ты умрешь, Абдул Хамид умрет, но родина будет жить. Обязательно допиши историю, закончи твое великое произведение.

Это обращение подействовало на Кемаля. Он снова пытался отряхнуть с себя оцепенение, чувство безнадежности, которое быстрее сжигало его жизнь, чем тяжелая болезнь.

– Ты прав, Экрем, – сказал он, – я должен закончить историю; это мой долг перед родиной.

Но это был лишь короткий порыв, который угас так же быстро, как и появился. Скоро Кемаль настоял, чтобы семья уехала в Стамбул к деду; как будто предчувствуя близкую развязку, он не хотел, чтобы его любимые дети были свидетелями печальной картины смерти.

В середине октября 1888 г. ушел пароход, увезший его семью с Хиоса. Теперь он остался один со своим недугом, со своими мыслями, со своим отчаянием. Семья, поселившаяся в Стамбуле в доме Мустафы Асыма, получила от него еще два-три письма. Затем письма прекратились. Вместо них пришла телеграмма от зятя Рифата, сообщавшего, что Намык Кемаль вновь слег с серьезным воспалением легких. Телеграмма получилась уже тогда, когда Кемаль доживал свои последние часы, ибо до конца, не желая волновать близких, он запрещал сообщать о своей болезни.

Экрем в тот же день отправился с первым отплывавшим пароходом на Хиос, но отца в живых не застал: он умер 2 ноября 1888 года. Он угас тихо, в полном сознании. За 6 часов до смерти он попросил книгу Виктора Гюго «Отверженные», которую страшно любил и перечитывал много раз. Глаза его плохо видели, ему казалось, что в комнате темно, и окружающие по его просьбе зажгли пять ламп и четыре свечи – все, что было в доме. Некоторое время он был погружен в чтение, затем, отложив книгу, начал объяснять присутствующим, как прекрасен этот роман.

Утомившись, он попросил, чтобы книгу не закрывали, а положили рядом с ним на подушку.

– Я отдохну только и снова буду читать.

Это были его последние слова. Голова опустилась на подушку, глаза закрылись, наступило забытье… Через несколько часов сердце перестало биться.

В тот день, когда Экрем приехал на Хиос, из дворца пришла телеграмма, разрешающая перевезти останки Кемаля в Булаир (на европейском берегу Дарданелльского пролива) и там похоронить их. Этого добился верный друг покойного, Эбуззия-Тефик, твердо помнивший когда-то высказанное Кемалем, которому страшно нравился тихий живописный городок Булаир, желание:

«Как будет хорошо, если меня похоронят здесь».

В этот день уходил пароход «Эсери Нюзхет», тот самый пароход, который Кемаль любил встречать и провожать на хиосской пристани. Тело было погружено на пароход; сын и зять поехали вперед буксирным судном, чтобы подготовить все к похоронам. «Эсери Нюзхет» прибыл в Булаир на рассвете. По распоряжению местного военного командования прах встречала рота солдат. Из соседних деревенских школ пришли дети с цветами и ветками лавра в руках. Погребение было самым скромным: в вырытую яму опустили гроб; мулла, присев на корточки, прочел краткую молитву. Посыпались комья земли. Вскоре один лишь свежий земляной холм напоминал о том, кто всю свою жизнь посвятил борьбе за лучшее будущее Турции.

Через несколько лет султан не только разрешил построить над могилой мавзолей, но даже велел ассигновать на это небольшую сумму из казны. Выказать благосклонность мертвому врагу было в характере лицемерного Абдул-Хамида. Невольно вспоминались слова римского императора Виттелия: «Труп врага пахнет всегда хорошо, в особенности, если это соотечественник».

Мавзолей был построен по плану знаменитого писателя и поэта, Тефик-Фикрета. Это был банальный мраморный саркофаг, которыми изобилуют все мусульманские кладбища, с куполом, поддерживаемым шестью маленькими мраморными колоннами. Короткая надпись гласила: «Могила Намык Кемаля». Никто не осмелился воспроизвести слова, которые Намык написал незадолго до смерти:

> Если я умру, прежде чем увижу родину счастливой, Пусть на моем могильном камне начертят слова: «Если отечество мое в печали, печалюсь с ним и я».

Впоследствии землетрясение разрушило купол; остался лишь мраморный саркофаг и подножия колонн. И осталось еще, как предсказал Кемаль, имя великого поэта и борца за свободу.

БИБЛИОГРАФИЯ

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Литературная энциклопедия, т. V, 1931 г. Заметка Али Назима. Намык Кемаль.

Герман Вамбери. Очерки жизни и нравов Востока. СПБ, 1876 г.

Розен. История Турции от победы реформ в 1826 г. до Парижского трактата в 1856 г. (в двух частях, перевод с немецкого). СПБ, 1872. В. Гордлевский. Очерки по истории новой османской литературы. Москва, 1912. В. Смирнов. Очерки истории турецкой литературы. СПБ, 1891 г.

Аб. Алимов. Турция. (Очерки по истории Востока в эпоху империализма). Изд. Ком. Академии при ЦИК СССР, 1934.

М. Покровский. Дипломатия и войны царской России. Изд. 1925 г.

Б. С. Э. (том XIII). «Восточный вопрос».

НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Ламартин. Путешествие на Восток. Париж. 1875 г.

М. Убичини. Письма о Турции. Париж, 1881.

Али-Хайдар Мидхат. Мидхат-паша. Париж, 1909.

Эд. Энгельгард. Турция и Танзимат. Т. I и II. Париж, 1882.

НА ТУРЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Али-Экрем. Намык Кемаль. Стамбул, 1930. Исмаил-Хабиб. Обновление нашей литературы. Стамбул, 1931.

Мустафа-Нихат. История турецкой литературы. Т. II.

И. Хикмет. История турецкой литературы. Т. I и II. 1925.

Фазыл-Неджип. Литературные мальчишки. (Историч. роман). Стамбул, 1930.

Мехмет Зия-бей. Стамбул и Босфор.

Абдурахман-Шереф. Лекции в турецком очаге. Стамбул, 1923–1924.

Сулейман-Назыф. Два друга (Кемаль и Зия). Стамбул, 1925.

И. Хикмет. Намык Кемаль. Стамбул. 1932.

И. Хикмет. Зия-паша. Стамбул, 1932.

И. Хикмет. Риджаизаде Экрем. Стамбул, 1932.

А. Шереф. Исторические беседы. (Статьи о младотурках). Кемальэддин-Шюкрю. Намык Кемаль и его произведения. Стамбул, 1931.

Исмаил Хикмет. Жизнь Зия-паши и его произведения. Стамбул, 1932.

notes

Примечания

1

Диван – совет.

2

Буль – знаменитый французский скульптор-мебельщик (1642–1732). Изготовленная им мебель называется «буль».

3

Гюль-Хане – жилище роз.

4

Гиджра – мусульманское летоисчисление; начинается с 622 года – год бегства Магомета из Мекки в Медину.

5

Эснафы – гильдии, объединяющие по-средневековому до настоящего времени ремесленников и мелких торговцев.

6

Софты – студенты духовных семинарий.

7

Улемы – доктора мусульманского права.

8

Высокая Порта – здание, где помещалось турецкое правительство, которое и само носило это название.

9

Хатишериф, хатихумаюн – высочайший манифест.

10

Франк – француз; так называли в Турции всех европейцев.

11

Танзимат – реформы, организация.

12

Калифат – высшая духовная власть над мусульманами; с 1517 года носителем ее был турецкий султан.

13

Красочное описание одного из этих восстаний можно найти в романе современного турецкого писателя Садри Этема: «Когда остановились прялки».

14

Дервиши – монахи.

15

Гяур – неверный.

16

Галата – коммерческие кварталы в европейской части Стамбула.

17

Имам – проповедник, священнослужитель.

18

Селямлик – публичное появление султана на богослужении по пятницам; идет от Мурада I, у которого великий муфтий Мевлу Фенари отказался принять свидетельское показание, основываясь на тексте шариата: «свидетельство мусульманина, не поисутствующего на публичной молитве, не имеет веса».

19

Пашалыки и санджаки – административные деления ста рой Турции, аналогичные наместничествам и губерниям.

20

Это правило содержится в фетве (постановление высшего духовного лица у мусульман, аналогичное папской булле) муфтия Бехчет Абдуллаха, изданной в 1729 году в царствование Ахмета III. Исключение делалось лишь для улемов и янычар, после смерти которых имущество не переходило к султану.

21

Намаз – молитва.

22

Ходжа – учитель; так же назывались и низшие духовные лица, исполнявшие религиозные обряды и учившие народ шариату в деревнях или бедных городских мечетях.

23

Фалака – тяжелый деревянный брус, служивший для привязывания ног наказуемого, когда его били палками по пяткам.

О такой оригинальной аргументации тогдашних ходжей свидетельствует известный турецкий литератор Омер Сейфеддин в своих воспоминаниях о школьных годах.

25

Сунна – предания о жизни и учении пророка Магомета.

26

Эзан – призыв к молитве; возглашается пять раз в день.

27

Иран – Персия.

28

Зеебеки – племя, живущее в окрестностях Смирны, известное своей воинственностью и живописными плясками.

29

Шейх – настоятель мусульманского монастыря, старец, а также лицо, славящееся своими религиозными знаниями и праведной жизнью.

30

«Уже с давних пор в Европе только две действительные силы, две истинные державы: революция и Россия», – писал русский дипломат Тютчев в 1848 году.

31

Тори – консерваторы.

32

Виги – либеральная партия, представлявшая в то время легкую промышленность, по интересам которой больше всего било русское предприятие.

33

Нарды – игра, широко распространенная на Ближнем Востоке.

В городах Анатолии, и даже в Анкаре и Стамбуле сазы до сих пор являются любимым развлечением средних классов населения.

35

Диван – собрание стихов какого-либо поэта, расположенных в алфавитном порядке рифм; газель – короткое лирическое стихотворение, преимущественно р вине и любви.

36

Стамбулом раньше называлась часть Константинополя, расположенная на южном берегу Золотого Рога на месте древней Византии. После победы Кемалистской революции Стамбулом называют весь Константинополь.

37

Кафес – опускающаяся и подымающаяся мелкая диагональная решетка на окнах каждого городского дома в Турции. В обыденном языке является символом затворничества женщины.

38

Медахи – певцы и рассказчики народных повестей и анекдотов. Многие из них пользовались большой известностью и разъезжали на гастроли по турецким городам.

39

Йорган – стеганое одеяло; обычно крестьяне, отправляясь в город, чтобы не платить за ночлег, берут с собой одеяло, которое привязывают за спиной. Завернувшись в него, они ночуют прямо в поле или на городском пустыре. В Турции их называют «йорганлы» (с одеялом).

40

Эвлия – святой, праведник.

41

Текке и дергях – монастыри; их быт великолепно обрисован в романе турецкого писателя Якуб Кадри «Нур-Баба».

42

Бекташи – старый дервишский орден, по преданию основанный жившим в XIV веке недалеко от Кейсарии Хаджи-Бекташем; мевлеви – вертящиеся дервиши; орден основан в конце XIII столетия в Конии знаменитым поэтом Джелалэдинн Руми; руфаи – воющие дервиши, самоистязатели; накшибенди – монашеский орден, отличающийся строгим послушничеством – мюридизмом.

43

Зекир – мистическая книга откровений.

Раки – анисовая водка, в большом ходу в Турции.

Махмуд II сам пописывал в этой газете и помещал в ней стихи, которые, конечно, до небес превозносились придворными.

Впоследствии принял ислам, ассимилировался и занимал видные должности в военном министерстве под именем Решад-бея.

47

Год запрещения и ликвидации республиканским правительством всех монашеских орденов.

Маркс и Энгельс Сочинения, том X.

49

Иначе «младотурки»; этот термин впервые появился на страницах «Тасфири Эфкяр».

Маркс и Энгельс. Письма. Немецкое издание, том IV, стр. 375.

51

Коран. XXIV, 27.

52

Айетулла – редактор газеты «Утарид» (Меркурий).

53

Хедив – владетельный князь.

Вали – губернатор.

55

Риджаидзе Экрем был на семь лет моложе Кемаля. Главную работу в «Тасфири Эфкяр» вел он. Газета при нем не сохранила того значения, как при Шинаси, ни того блеска, как при Кемале, но в общем он не уклонился от того пути, который был начертан его предшественниками. Через два года газета прекратила свое существование.

56

Шииты и сунниты – две основные ветви магометанской религии. Это разделение началось в эпоху борьбы оммеядов с последователями зятя Магомета-Али за калифат. К шиитам принадлежит две трети населения Ирана.

57

Эмиль Литтре – французский ученый, филолог, философ позитивной щколы и политический деятель (1801–1881).

К этому времени, помимо «Хурриет» и «Мухбир», группа эмигрантов во главе с Мехмедом начала издавать в Париже газетку «Иттихад», где были статьи на арабском, греческом и армянском языках, обращавшиеся к национальным меньшинствам Оттоманской империи.

59

Последний номер лондонского издания вышел 28 февраля 1870 года.

60

Будущий великий визирь.

61

Хамал – носильщик.

Мароните – арабы-католики Сирии.

63

Друзы – одно из сирийских племен.

Шах-заде и Сулеймание – мечети в Стамбуле; Селимие – мечеть в Адрианополе.

65

13 июня 1872 года.

66

Гелиболу – маленький городок на Галиполийском полуострове.

Каймакам – начальник уезда.

Исмаил-Хабиб. Обновление нашей литературы.

69

20 января 1873 года.

70

Абу-Ханифа – один из четырех так называемых «великих имамов», живших в первые века мусульманской эры.

71

Кадир Геджеси – «ночь предопределения», когда Магомету был «ниспослан коран». В эту ночь мусульмане ходят со светильниками и факелами.

Сулейман-Назыф. Два друга.

73

Турецкое время исчисляется по солнцу; оно различно для разных мест.

Кючюк Су – излюбленное место гулянья жителей Стамбула.

75

Левкозия – окружной центр на Кипре.

Киле – мера сыпучих тел = 40 литрам.

77

Игра слов – означает путаться в высокие (политические) дела.

78

Рынок, где продаются москательные и колониальные товары, а также восточные благовония.

79

«Гутаперчевый Саид» – прозван так за свою толщину; крупный чиновник и журналист. Пользовался репутацией беспокойного человека; выслан был в Аравию за сравнительно невинное стихотворение, смысл которого был «Турция – для турок».

Исмаил-Хабиб. Обновление нашей литературы.

81

Мангал – небольшая жаровня, которой обогреваются турецкие дома, в большинстве случаев не имеющие другого отопления.

Харабат – кабачок, питейное заведение.

83

Вилайет – губерния; закон о вилайетах был первой попыткой ввести нормальное гражданское управление в провинции, взамен дарившего тогда феодального произвола и «вотчинного» самоуправства назначаемых в провинцию «на кормление» наместников и губернаторов.

84

Панславизм – идеологическое течение в кругах русского капитализма, призывавшее к объединению всех славян под русским главенством и скрывавшее за громкими фразами о славянском братстве стремления русского империализма к расширению своих рынков сбыта и политического влияния.

85

Комитаджи и четники – организованные группы славянских националистов, боровшихся с оружием в руках против турецкой администрации.

86

Арабские племена, населяющие центральную части Аравии – Неджд.

87

Пронунциаменто – акт отказа повиновения правительства или военного командования верховной власти; обычно этим словом обозначают верхушечный переворот.

88

Сиркеджи – набережная в Стамбуле.

89

Тот самый, чья армия в русско-турецкую войну 1877–1878 гг. штурмовала Шипку.

90

Квартал в Стамбуле.

91

Великий визирь был родом из Кейсарии.

92

Впоследствии, после свержения Абдул-Хамида в 1909 году – султан Мехмед V Решад.

93

У жены Мидхата были большие связи среди женщин, принадлежавших к дворцовым гаремам, чем и объясняется это ответственное поручение.

94

Мечеть в глубине Золотого Рога. Она является священным местом для мусульман, так как здесь похоронен павший под стенами Византии знаменитый девяностолетний знаменосец Магомета – Эйюб.

95

Касаб – грек; в молодости жил в Европе, где подружился с А. Дюма-отцом. Впоследствии он издавал сатирическую оппозиционную газету «Диоген». В эпоху объявления конституции он привлекался к ответственности за помещение в «Хайал» карикатуры, изображавшей закованную в цепи печать, с надписью: «Свободна в пределах аакона». За критику пресловутой 113 ст. конституции «Хайал» был закрыт, а его издатель приговорен к заключению в тюрьме.

Мехмеджик – маленький Мехмед, так называют турецких солдат из крестьян.

97

Сохранившийся еще до сих пор в Турции обычай целовать руки старшим в знак уважения.

98

Лорд Биконсфильд – знаменитый английский политический деятель второй половины XIX столетия.

99

Ильдыз – дворец-резиденция Абдул-Хамида.

100

Эпохой Зулюма (деспотизм, угнетение) турецкие историки называют царствование Абдул-Хамида II, от упразднения конституции до младотурецкой революции 1908 г.

101

Перевод Умова; из книги Смирнова «Очерки истории турецкой литературы».

«Зия» – по-турецки «свет», «сияние».

103

Халет-эфенди, бывший хамал у армянского купца, совершенно безграмотный, но славящийся своими жестокостями, занимал высшие посты в государстве: был визирем, послом во Франции и т. п.

104

Наместник святых мест мусульманского мира (Мекки и Медины); по существовавшему обычаю назначался из потомков Магомета.

105

1883 год.

Умер в ссылке, в Тайфе, в 1896 году.

107

Солнце.